

Александр ДЮМА

сын



РОМАН
ЖЕНЩИНЫ

ИСПОВЕЛЬ
ПРЕСТУПНИКА

«Исповедь преступника» («Дело Клемансо») — исповедь мужа, убившего некогда обожаемую им жену — не только за то, что она изменяла ему, но и за то, что «она была воплощением лжи и фальши под маской совершенной красоты».

- [Александр Дюма-сын](#)

-
- [I](#)
- [II](#)
- [III](#)
- [IV](#)
- [V](#)
- [VI](#)
- [VII](#)
- [VIII](#)
- [IX](#)
- [X](#)
- [XI](#)
- [XII](#)
- [XIII](#)
- [XIV](#)
- [XV](#)
- [XVI](#)
- [XVII](#)
- [XVIII](#)
- [XIX](#)
- [XX](#)
- [XXI](#)
- [XXII](#)
- [XXIII](#)
- [XXIV](#)
- [XXV](#)
- [XXVI](#)
- [XXVII](#)
- [XXVIII](#)
- [XXIX](#)
- [XXX](#)
- [XXXI](#)
- [XXXII](#)
- [XXXIII](#)
- [XXXIV](#)
- [XXXV](#)
- [XXXVI](#)

- [XXXVII](#)
 - [XXXVIII](#)
 - [XXXIX](#)
 - [XL](#)
 - [XLI](#)
 - [XLII](#)
 - [XLIII](#)
 - [XLIV](#)
 - [XLV](#)
 - [XLVI](#)
-
-

Александр Дюма-сын

ИСПОВЕДЬ ПРЕСТУПНИКА

Роман



Адвокату Роллинэ

«Услыхав о моем аресте, вы вспомнили наши прежние дружеские отношения и, не придавая значения противоречивым людским толкам, уговорили меня жить и бороться ради моего ребенка. Дело мое будет разбираться не раньше, как через пять-шесть недель; это время я посвящу полной исповеди моей жизни, припоминая в точности обстоятельства, факты и мысли, предшествовавшие катастрофе, вследствие которой я очутился на скамье подсудимых. Я буду откровенен, как перед Богом; я скажу вам всю правду, доставлю вам материал для моей защиты. Ваш талант и дружба ко мне дополняют остальное.

Каков бы ни был вердикт присяжных, я не забуду, с каким участием обняли вы меня, когда дверь тюрьмы отворилась перед вами, и последняя моя мысль, — если я буду осужден, — принадлежит вам и сыну моему.

Пьер Клемансо».

Я незнатного происхождения. Мать составляла всю мою семью: кроме нее, у меня не было родных, и имя отца моего до сей поры мне неизвестно. Если отец жив, то, конечно, узнает из газет о моем аресте и, вероятно, порадует, что не признал меня за сына и что не под его именем я очутился на скамье подсудимых. Придет ли ему в голову, что, быть может, судьба моя была бы иная, если бы он признал меня? До десятилетнего возраста я аккуратно посещал школу, выучился читать, писать, немного арифметике и закону Божию.

На одиннадцатом году мать решила поместить меня пансионером в среднее учебное заведение, заботясь о моей будущности и забывая о своих интересах; ей некого было любить, кроме меня.

— У тебя нет отца, — сказала она мне тогда, — это не значит, что он умер... Многие будут презирать и оскорблять тебя за это несчастье, которое должно бы возбуждать в людях участие и сострадание. Надеяться ты можешь только на себя да на меня; какое бы горе ты ни причинил мне — я обязана простить тебя. Не употребляй этого во зло.

Двадцать лет тому назад слышал я эти слова, а они запечатлелись в моей памяти, будто сказанные вчера. Память — роковой дар! За какой проступок наказал Господь человека, лишив его возможности забывать? Говорят, есть счастливые воспоминания... Да, пока счастье продолжается! Но если оно изменило или зашевелилось в человеке угрызения совести — воспоминания поражают его прямо в сердце, как кинжалом.

В десять лет я не совсем понял значение материнских слов; только инстинкт подсказал мне, что ей предстоит много горя, а на мне тяготеет долг.

Я поцеловал мать — единственный ответ взволнованного ребенка! — потом решительно и твердо произнес:

— Будь спокойна, я буду хорошо учиться, и, когда вырасту, мы оба будем счастливы!

У матери моей была маленькая белошвейная мастерская на углу улицы Лагранж-Бательер. Ее вкус, добросовестность и аккуратность приобрели ей немногочисленных, но избранных заказчиц.

Помню я нашу скромную, чистую квартирку, старуху прислугу, принимавшуюся с утра за уборку комнат. Бывало, вскачу я рано и под тем предлогом, чтобы помочь ей, только мешаю и вожусь, как котенок; помню наши скромные обеды, дружеское отношение матери к старой прислуге; как сейчас вижу знакомые лица соседей, которых я встречал на лестнице, отправляясь в школу, и забавлял своей детской болтовней; помню также ночные работы веселых мастериц, усталую, но всегда бодрую и приветливую труженицу-мать...

Мастерицы наперебой баловали меня. Положение незаконного ребенка, вероятно, возбуждало их особенное участие! В этом сословии девушки часто подвергаются таким случайностям, поэтому естественно, что симпатия их на стороне обиженных судьбой и обществом.

За несколько дней до поступления моего пансионером они особенно изоцрялись в нежном баловстве, стараясь заставить меня забыть близкое изгнание; несмотря на мои добрые намерения, годы брали свое, и сердце мое сжималось при мысли о разлуке с домом.

Наконец наступил канун рокового дня — первого октября! После обеда мать сказала мне:

— Пойдем делать покупки.

Прежде всего она повела меня в магазин и позволила выбрать письменный прибор и серебряный колокольчик. Бедная женщина! Я выбрал самое простое и скромное, понимая, что это дешевле. Она поцеловала меня... материнское сердце чутко!

Затем мы прошли по бульварам и купили по дороге краски (я был большой охотник размалевывать картинки), волчок, веревочку для скакания и много других безделушек, которые могли бы развлечь меня до завтрашнего дня. Когда мы вернулись, было уже поздно; мастерицы разошлись, лампа тускло горела. Все мои платья были тщательно приготовлены и сложены на комод; всякая вещь представляла собой сумму денег, добытую тяжелым трудом. Мужчина, соблазняющий девушку ради своей прихоти, отдает ли себе отчет в том, что делает? На что обрекает он мать своего ребенка?

— Мама, — сказал я, усевшись на ее колени, — хочешь сделать мне удовольствие? Позволь мне спать с тобой эту ночь!

Я рос болезненным и слабым ребенком; в случае моего нездоровья мать часто брала меня ночью в свою кровать, и я бывал в восторге: как хорошо свернуться клубочком возле нее и заснуть, обняв ее руку! Случалось, что я, в виде награды, испрашивал позволения улечься возле нее и редко получал отказ. Милые и грустные воспоминания!

Ненужные подробности для моей защиты, не так ли? Но я пишу отчасти для самого себя: мне невозможно изложить вторую половину моей жизни, не остановясь на первой. Я набираюсь храбрости... А где ее найти, как не в безмятежных, трогательных воспоминаниях раннего детства?

На следующее утро, в семь часов, мать привела меня к директору училища и в сотый раз горячо повторяла ему, что она никогда не расставалась со мной, что надо быть особенно снисходительным ко мне, что кротостью можно делать из меня все что хочешь; если я заболелю, немедленно послать за ней; в первое время она будет, впрочем, ежедневно посещать меня в рекреации, и т. д., и т. д. Прозвонил колокол, мы поцеловались в последний раз — и она ушла.

Кто в жизни не перешел через этот момент? Всякий с содроганием помнит его.

Г-н Фремин, директор, привыкший отечески относиться к этому первому страданию человека, ласково сказал мне:

— Пойдем, друг мой.

Он отвел меня к новым товарищам.

Училище, куда я поступил, пользовалось не совсем заслуженной славой. В нем насчитывалось до трехсот воспитанников, большей частью сыновей коммерческих тузов, финансовой аристократии и сомнительно титулованных особ.

Мать моя, как все женщины, не получившие образования, задалась целью сделать из меня воспитанного человека. Она сочла долгом обратиться к одной из своих богатых заказчиц, у которой был сын приблизительно моих лет, и, узнав, в каком заведении мальчик учится, наивно прибавила:

— Я буду счастлива, сударыня, что сыновья наши окажутся товарищами по школе. Вы всегда были добры ко мне, авось это будет залогом и их детской дружбы!

Г-жа д'Англепьер внутренне вознегодовала на такую дерзость белошвейки, но мать моя ничего не заметила.

Гордость была так же чужда ей, как и подхалимство. К тому же когда матери разговаривают о своих детях, может ли им приходиться в голову разница общественного положения? Материнская любовь должна бы ставить их на одну доску, по крайней мере, в этом вопросе... Неужели, зависимо от состояния, можно производить на свет и любить своих детей различно? Тут-то именно природа ясно указывает на равенство и смеется над перегородками, искусственно воздвигнутыми людской несправедливостью и заносчивостью!

Однако г-жа д'Англепьер, жена новоиспеченного графа, думала иначе и, по всей вероятности, не стесняясь, выразила свои мысли при юном сыне...

Последствия ее возмущившегося аристократизма не замедлили отозваться на мне.

Учебное заведение вмещало в себя два отдела: один для младшего возраста, до пятого класса включительно, другой для старшего; каждый из них помещался в отдельном корпусе здания, имел свой особый подъезд, и двор разделен был решеткой.

Классным наставником старших числился сам г-н Фремин; у младших классов был свой.

Итак, директор привел меня в младшее отделение и, поручив классному наставнику, удалился.

Я сел на скамью и печально смотрел в пространство, думая о матери, которая теперь, наверное, плачет, принимаясь за свою ежедневную работу. Слезы душили меня, но я чувствовал, что плакать здесь не место!..

Вокруг меня товарищи шумели и разговаривали, показывали друг другу подарки и игрушки, лакомились принесенными из дома пирожками и конфетами.

На меня никто не обращал внимания. Я спросил у наставника, вернулся ли сын г-жи д'Англепьер, но оказалось, что его еще нет.

Вдруг один из воспитанников остановился передо мной, расставив ноги и рассматривая меня. Руки его были засунуты в карманы, движением головы он поминутно откидывал со лба белокурые локоны, падавшие ему на глаза. Лицо его было бледно, прекрасные голубые глаза окаймлены болезненной синевою, хорошенькие губки искусаны до крови, нос правильный, с подвижными прозрачными ноздрями.

Он то и дело вытаскивал руку из кармана и нервно грыз ногти; мне было жаль: руки у него были прелестной формы и белые, как у женщины.

— Что ты тут делаешь? — спросил он, слегка кашляя.

— Ничего.

— Ты новенький?

— Да. А ты?

— Я — старый. Откуда ты?

— Я парижанин. А ты?

— Я из Америки. Как тебя зовут?

— Пьер Клемансо. А тебя?

— Андрэ Минати. Кто твой отец?

— У меня нет отца.

— Умер?

И, вероятно, приняв мое молчание за утвердительный ответ, он продолжал:

— А мать твоя что делает?

— Она белошвейка.

— Белошвейка? Шьет рубашки?

— И другие вещи тоже! — наивно отвечал я. — А твоя?

— Моя ничего не делает. Она богата и отец также. Он путешествует.

— Сколько тебе лет?

— Двенадцать. А тебе?

— Десять.

— Что это у тебя в корзине?

— Пирожки. Хочешь попробовать?

— Посмотрим твои пирожки.

Я поднял крышку корзинки, Андрэ запустил туда руку, попробовал один пирожок, другой и без церемонии уничтожил все.

— Недурны! — одобрил он. — Что же ты сам не ел?

— Я сыт.

— Больше у тебя ничего нет?

— Ничего.

— Прощай. Ты дурак.

Он повернулся на пятках, оставив меня в полном недоумении, подкрался сзади к другому мальчику, прыгнул ему на спину и свалил его с ног. Пробегая дальше, забияка щипал и толкал товарищей, не ожидавших его нападения, причем старался выбирать слабеньких.

Классный наставник не вмешивался... Он спокойно ходил взад и вперед, заложив руки за спину, и, вероятно, размышляя о своей горькой доле.

Я невольно следил глазами за бойким Андрэ, съевшим мои пирожки. Прodelав несколько штук с товарищами, он подошел к перегородке, разделявшей двор, и, удостоверившись, что наставник не смотрит на него, сделал знак; старший воспитанник, юноша лет восемнадцати, подошел к перегородке и сунул ему в руку записочку, которую Андрэ ловко спрятал в карман, и затем, как ни в чем ни бывало, смешался с толпой товарищей.

Вскоре нас повели в домовую церковь на молебен, а оттуда в классы.

Меня посадили на первую скамейку, рядом с Андрэ Минати. Я весь превратился в слух, готовясь не пропускать ни одного слова учителя, помня наставление матери; сосед мой начал с того, что прочел полученную записочку, вложив ее в книгу; затем сунул записку в рот, разжевал ее и проглотил; потом обратился ко мне с какими-то вопросами, но видя, что я не отвечаю, начал приставать ко мне и вымазал чернилами мою курточку. Тут я не выдержал и довольно громко попросил его оставить меня в покое.

Он рассердился и шепнул, что припомнит это мне после класса.

Действительно, во время рекреации Андрэ подошел ко мне в сопровождении двух товарищей и, подставив мне под нос кулак, обозвал меня «продавцом рубашек». Я презрительно отвернулся от него, но в ту же минуту получил здоровенный подзатыльник и чуть не шлепнулся носом. Взбешенный, я обернулся и, не раздумывая долго, хватил его так по лицу, что у него пошла кровь из носа.

Я испугался и бросился к нему, чтобы помочь, но он, бледный от злости, изо всей силы ударил меня ногой; вся жалость моя мигом пропала, я повалил забияку на землю и схватил его за шиворот... Товарищи растащили нас...

Я стоял запыхавшись, сверкая глазами, готовый победить целую армию неприятелей. Пришлось классному наставнику вмешаться и разобрать дело. Я откровенно рассказал все как было, не умолчав и о пирожках.

Итак, вступление мое в школу ознаменовалось с первого же дня приобретением горького опыта. Жадность, неблагодарность и вероломство существуют не только между взрослыми людьми.

Побитого Минати умыли холодной водой. Он молчал и бросал на меня исподлобья злые взгляды, ясно говорившие, что отныне мы с ним смертельные враги.

К вечеру явился сын г-жи д'Англепьер. Мальчик этот сразу показался мне еще антипатичнее, чем Минати. То был мальчуган десяти лет, в безукоризненном костюме, с прилизанными височками и надменными манерами. Такие люди и детьми не бывают — они рождаются самоуверенными посредственностями, со временем выбирают дипломатическую карьеру, никогда и ни в чем не имеют сомнения, получают чины и отличия и умирают, не оставив после себя ни мысли, ни фразы, ни поступка, которые стоили бы внимания. Однако, вспомнив желание матери, я подошел к юному виконту и, в простоте душевной, напомнил ему о знакомстве наших родительниц.

— У меня свои друзья, — сухо сказал он, почти не удостоивая меня взглядом, — я выбираю их между равными.

Разумеется, глупец этот повторял слышанную фразу.

Когда мать пришла навестить меня, я рассказал ей все свои впечатления, только о сражении с Минати умолчал, не желая тревожить ее.

Она посоветовала мне не обращать более внимания на виконта и прибавила со вздохом:

— Если тебя будут обижать здесь, дитя мое, скажи мне откровенно, я помещу тебя в другую школу.

Но пока не произошло еще ничего особенного: худшее ждало меня впереди.

Классный наставник счел нужным посадить возле меня другого мальчика, во избежание столкновений с Андрэ. Новый сосед мой, Бернавуа, оказался прилежным и кротким, и мы с ним подружились. Во время рекреаций, рассказывая мне о своей семье, он упомянул, что у родителей его средства очень скромные, а я, в свою очередь, откровенно поведал ему все о себе, не забыв объяснить, что отца у меня нет, хотя он и не умер... Так как новый приятель мой был на полном пансионе, то я попросил мать мою взять его в воскресенье, и мы втроем отправились в С.-Клу, позавтракали в ресторане, а обедали дома.

Вернувшись в понедельник в школу, я подошел к одному из товарищей, как вдруг он пустился бежать от меня с криком:

— Карантин!

С другим, с третьим — та же история. Словом, только Бернавуа говорил со мною по-прежнему: остальные спасались от меня, как от зачумленного.

Не зная, что это значит, я спросил у Бернавуа разъяснения. Он серьезно сказал мне, что дело нешуточное: общество товарищей осудило меня.

Осудило? Карантин? Да что же я такое сделал?

Позже я узнал, что Бернавуа совершенно без умысла способствовал этому осуждению, рассказав товарищам все, что слышал о моей семье. Минати и виконт решили подвергнуть меня остракизму за то, что у меня не было отца!

Предсказание бедной матери сбывалось: но могла ли она предполагать, что оно сбудется так скоро и по милости детей-товарищей?

Надо отдать справедливость Бернавуа: он продолжал говорить со мной, рискуя навлечь на себя неудовольствие всего класса. Он пояснил мне, что срок наказания может уменьшиться, если «виновный» смиренно попросит прощения.

Я вспыхнул от негодования: я ни в чем не провинился и просить прощения не буду. Товарищи решили не говорить со мной в течение сорока дней — пусть так. Обойдусь без их разговоров.

— Но я должен предупредить тебя, — продолжал Бернавуа, — что если осужденный вздумает бороться, срок наказания удваивают... утраивают! Иногда карантин длится целый год.

— Пусть длится год.

— Не ограничиваются тем, что молчат...

— Что еще делают?

— Мало ли что!

— Однако?

— Увидишь! Кажется, приготавливаются.

— Ну что же, увидим!

И вот началась форменная травля. Один попрекает меня бедностью, потому что его родители имели хорошие средства; другой — трудом моей матери, потому что его мать ничего не умела делать; третий — тем, что у меня нет отца, потому что у него было их, может быть, два и т. д. Первые свойства, которые я открыл в зародыше у людей, были: несправедливость и жестокость.

Но я решил не смиряться ни под каким видом. Как бы то ни было, а тяжело в десять

лет воевать с неприязнью целого класса и защищаться, не имея другого оружия, кроме сознания своей правоты!

Стал я учиться еще прилежнее. В рекреации старался разговаривать с классным наставником, который отлично понимал, что происходит, и втайне жалел меня, но бедняк зависел от своего места и поневоле дорожил им; он не смел заступиться за меня открыто! Он охотно говорил со мной, помогал мне учиться — и за то спасибо. Под старость этот несчастный человек спился и лет пять тому назад умер в нищете. Я похоронил его.

В обширном дворе нашем было местечко, отведенное когда-то директором под грядки для воспитанников, желавших заняться садоводством. Но любителей находилось мало, и грядки были в пренебрежении. Классный наставник посоветовал мне попросить у директора позволения заняться культурой цветов и овощей. Я с радостью ухватился за эту мысль, получил лопатку, скрябку и семена.

Можете судить, в какую ярость пришли мои преследователи, убедившись, что наказание их не приводит меня в отчаяние. Главным подстрекателем явился, конечно, Андрэ Минати. Откуда черпал этот бледный, тщедушный мальчик такую энергию для поддержания своей недетской злобы? Не был ли его отец рабовладельцем в Америке, и не унаследовал ли сын привычку наслаждаться страданием ближнего?

Мне не давали покоя даже ночью: только я засыпал, в меня летели подушки, книги, все что попало; часто, приходя ложиться спать, я находил мои простыни и одеяло вымоченными. Что делать? Жаловаться? Фискальство претило мне — я молчал.

В столовой устраивали так, что блюдо доходило до меня пустым — не раз довольствовался я куском хлеба и водой вместо обеда.

Грядки мои затаптывались, посаженные отростки и семена вырывались и раскидывались; когда я работал, в меня бросали камнями. Война велась непрерывная, ожесточенная — я жил под гнетом смертельного страха, и это сказывалось на моем характере и здоровье.

Однако я и матери не жаловался: она заплатила за полгода вперед, и я знал, что деньги не достаются ей даром.

Некоторые воспитанники из моего класса не принимали деятельного участия в войне; но так как их было немного, то и заступиться они не могли и довольствовались пассивной ролью.

Раз мне устроили баррикаду на лестнице и потушили лампы; я упал и сильно расшибся. Пришлось начальству вступить — доложили директору. На следующий день г-н Фремин пришел в класс и прочел строгую нотацию, угрожая наказанием и даже исключением зачинщиков. Он громко спросил у меня имена преследователей и дал мне право назначить им наказание — но я никого не назвал. Он воспользовался этим, чтобы похвалить мое великодушие и уколоть моих маленьких врагов.

Директор был, видимо, растроган; я плакал и втайне надеялся, что мученья мои кончены. Несколько дней мне дали действительно вздохнуть. Не мешали есть, спать, работать в садике.

Мои требования не шли дальше этого!

Раз утром я прилежно работал в садике, как вдруг до слуха моего долетело знакомое и дорогое имя. Двое товарищей, Минати и еще другой, шли мимо и разговаривали между собой. Я невольно прислушался: рассказывалась какая-то история, героиня которой называлась Фелисите. Фелисите — было имя моей матери, и рассказчик как-то особенно выкрикивал его, проходя мимо меня, прибавляя непонятные для меня эпитеты, вероятно, оскорбительные. Я только расслышал, что дело шло о каком-то любовном приключении.

Когда мы вернулись в класс, один из учеников обратился к наставнику с вопросом:

— Скажите, пожалуйста, какое прозвище носил Дюнуа?

— Орлеанского подзаборника.

— Что такое подзаборник?

Наставник подумал с минуту и ответил:

— Это ребенок...

— Не имеющий отца! — подхватил кто-то из класса.

Я наострил уши. Ведь у меня не было отца!.. К тому же взгляды товарищей с насмешкой устремились на меня.

«Ну что же? Значит, и я подзаборник!» — подумал я, хотя решительно недоумевал, что это значит и почему так позорно иметь только мать и быть ей всем обязанным.

— Как же это можно не иметь отца? — продолжал допрашивать первый мальчик.

— Молчи, скотина! — раздался вдруг голос с одной из скамеек.

Это произнес Константин Риц, молчавший до сих пор и не принимавший участия в войне со мной.

В первый раз один из товарищей решился громко заступиться за меня.

Все замолчали. Я даже пожалел: так я не узнаю, что значит подзаборник?

Я открыл лексикон и нашел следующее объяснение: «Ребенок, рожденный вне брака». Но и это мне ничего не объяснило. Разве товарищи мои иначе рождены, чем я? Вероятно, если меня преследуют за это различие. Однако я и сильнее, и умнее многих из них... Но их навешают отцы, а у меня нет его! Вот в чем вся беда!

С этого дня начались приставанья на эту тему. Меня прозвали: «Дюнуа», а кто-нибудь из товарищей играл роль «Фелисите». И чего-чего не говорилось. Боже мой! В то время многие слова, выражения, намеки были мне непонятны, но теперь, вспоминая их, я с содроганием спрашиваю: каким образом может быть так развращен и загрязнен ум детей, старшему из которых едва ли было тринадцать лет?!

Довольно подробностей, не так ли? Они отвратительны, и вы, пожалуй, подумаете, что я преувеличиваю, чтобы выставить себя в лучшем свете, возбудить вашу жалость? О Боже, нет! Напротив, я рассказываю в общих чертах, тогда как изобретательностью моих маленьких мучителей можно было бы наполнить несколько глав! Конечно, я мог бы вовсе не упоминать об этом тяжелом периоде моего детства, тем более что он бледнеет по сравнению с последующими событиями, и я давно должен был бы простить моим неразумным, малолетним врагам!..

Так нет же! Я не простил!

Душа моя никогда не могла вполне отделаться от этого первого впечатления людской жестокости, и я не желаю казаться лучше, чем я есть на самом деле.

Позже случая угодно было свести меня с некоторыми из школьных товарищей, преследовавших меня, — они забыли, как и подобает обидчикам, все прошлое, выказывали себя горячими почитателями моего таланта, заискивали передо мной! Но я не мог принудить себя пожать их протянутую руку... Вспомнили ли они тогда свою вину? Сомневаюсь. Скорее обвиняли меня в гордости, решили, что я зазнался от успеха! А я просто помнил прошлое и не прощал...

Но если сердце мое отказывается простить, то рассудок находит смягчающие обстоятельства.

Дети повторяют то, что слышат от старших; большинству моих одноклассников никто в семье не внушал милосердия и участия к ближнему... Откуда им было научиться этому? Они находили мое происхождение позорным и, не стесняясь, заявляли об этом. Понравиться им я не сумел, держа себя независимо, и не просил пощады, потому что не чувствовал за собой вины.

А вина была. Не моя лично, и не только детям, но и развитому обществу долго еще не распутать рокового вопроса о незаконных детях!

Ваш ораторский талант не подлежит сомнению, дорогой друг; быть может, когда-нибудь защита отдельных лиц покажется вам недостаточно широкой ареной, и вы возвысите свой могучий голос для проповеди общечеловеческой идеи... Возьмите под свою защиту бедных незаконнорожденных детей! Вопрос важный, интересный и глубокий. Закон относится к ним с явным предубеждением, с вопиющей несправедливостью. Он требует от них исполнения долга, как от прочих граждан, а более половины прав отнимает неизвестно на каком основании. Они обязаны проливать кровь за родину наравне с законными детьми, а наследниками не могут считаться даже в том редком случае, если отец признает их! Почему? Отчего отец должен прибегать к разным обходам и уверткам, чтобы оставить незаконному сыну родовое поместье?

Мне могут возразить, что брак с матерью сына поправит все дело. А если мать умерла или недостойна носить имя порядочного человека? Тогда сын отвечает за ее проступки и на него обрушиваются невзгоды? Не думают ли законодатели уменьшить число незаконных детей, определив им печальную участь? Какое заблуждение! Мужчина, в эгоизме своих увлечений, не думает о последствиях и в большинстве случаев оставляет таковые тяготеть на плечах своей слабой сообщницы. А ее защищает закон? Ничуть не бывало! Ей остается: самоубийство, детоубийство, воспитательный дом или горькая участь воспитывать своего ребенка, страдая за него, а иногда, самое ужасное, видеть в нем своего же собственного строгого судью!..

Взгляните же в глаза таким ненормальностям и ужаснитесь! Защитите женщину, возложите на мужчину часть ответственности за детей, произведенных им на свет, — и вы увидите, что цифра прекрасных соблазнительцев и ловеласов уменьшится.

Повторяю, вопрос интересный: кто его разрешит, тот обессмертит себя.

Однако такие нравственные толчки и непосильная умственная работа повлияли на мое здоровье и даже на рассудок. Мне необходимо было излить кому-нибудь мою душу, попросить совета.

Я выбрал священника, преподававшего мне закон Божий, рассказал ему все мои горести и просил его помощи. Аббат Олет начал говорить мне о страданиях Спасителя, в сравнении с которыми, прибавлял он, мои огорчения ничтожны; советовал непрестанно думать об этом и со смирением переносить гонения.

Воображение мое, и без того раздраженное, с радостью ухватилось за это утешение, и я без труда пришел к заключению, что мне предназначено самим небом быть жертвой, что это моя таинственная миссия.

«Так, так! — говорил я себе в экстазе, работая в садике. — Я Божие дитя! Люди будут преследовать меня, как и Его! Они не ведают, что творят. Быть может, убьют меня со временем... Я унаследую Царство небесное...

Экзальтация моя не знала пределов: я расспрашивал аббата, плакал, молился, жаждал мученичества.

Добряк аббат радовался моему настроению, говорил мне о житии святых, о их страданиях... С ясным лицом и блаженной улыбкой переносил я оскорбления товарищей, искренно желая быть побитым камнями или пронзенным стрелами. Я внутренне старался благословлять врагов и молился за них, почти не ел ничего, изнуря себя по примеру подвижников, мечтал о рае и о вечном блаженстве. При всякой возможности бежал в церковь и целые часы проводил распростершись перед образом. С утра до ночи распевал я божественные кантаты.

Можете судить о насмешках, сыпавшихся на меня! Наконец я стал страдать головными болями и нервными припадками. Физическая оболочка не выдержала. Кончилось тем, что я слег, и мать нашла меня в одно прекрасное утро в лазарете.

Я бредил. Видения преследовали меня. Особенно одно не давало мне покоя: как сквозь дымку, видел я на соседней постели бледного мальчика, истекающего кровью; белое лицо его и прозрачные руки мертвенными пятнами выделялись среди подушек и белья, глаза, окруженные синевой, все время были закрыты, белье постоянно окрашивалось кровью. Вокруг его кровати толпились люди — то мелькала голова директора, то вдруг голова эта перескакивала на туловище сиделки и тут же уступала место бесстрастному лицу аббата. Звуков до меня не доходило никаких — настоящая фантазмагория. Облик матери то и дело наклонялся надо мной, я хотел бы крикнуть, сказать что-нибудь — невозможно! При малейшей попытке меня окружала целая толпа теней, и в голове моей было ощущение удара молотком. Затем снова та же сцена у соседней кровати.

Больной мальчик был Андрэ Минати. Часто видел я около него воспитанника старшего отдела, писавшего ему записки. Как он тут очутился? И почему безутешно плачет?

Когда я пришел в себя, первым побуждением моим было взглянуть на соседнюю кровать. Но она была пуста и имела предательски невинный вид своими белыми занавесками и безукоризненным бельем. Не пригрезилось ли мне все виденное? Возле меня сидела мать, и по лазарету бесшумно двигалась сиделка.

Чувство полного бессилия и блаженного покоя овладело мной; я молча смотрел то на

мать, то на солнечный луч, игравший на белой занавеске; ни мыслей, ни желаний, ни ощущений...

Если переход в будущую жизнь таков, то смерть — блаженство. Я был так близок к ней, что с тех пор она не страшит меня. Даже в настоящую минуту я ее не боюсь. Во мне есть что-то такое, над чем она бессильна!

Выздоровление мое кончилось в Марли, где мы с месяц пробыли вдвоем с матерью. Она наняла две комнатки, окнами на юго-восток, и я стал быстро поправляться.

Хозяин нашей «дачи» был горшечник по ремеслу; желая потешить меня, он приносил мне глину, и я лепил человечков. Кажется, произведения мои были так удачны, что хозяин пришел в восторг и попросил меня вылепить ему Божью Матерь по модели статуи, находившейся в часовне.

Я принялся с таким рвением, что целые дни проводил перед часовней, возбуждая моей работой восторг собиравшихся мальчишек.

Когда статуэтка была окончена, восхищенный горшечник показал и помощнику мэра, и самому кюре, которые также похвалили меня и советовали серьезно заняться скульптурой. Я ликовал; мать радовалась моему восторгу, хотя и не приписывала особенного значения похвалам окружающих. Поправившись окончательно, я вернулся в школу. Андрэ Минати не было в числе моих товарищей — он действительно умер от внезапного кровотечения. Спасти его не смогли: организм не в силах был оказать нужного сопротивления.

Узнав эти подробности, я вдруг почувствовал угрызения совести: ведь я ударил Андрэ по лицу так, что у него пошла кровь носом! А он так нуждался в каждой капле! Не виновен ли я в его смерти? Я поведал эти мысли аббату Олет — но он успокоил меня. Но тем не менее, готовясь к первому причастию, я горячо молился за упокой души моего первого врага... не подозревая, что мне предстоит еще на земле встретиться с этой душой, вселившейся в оболочку соблазнительной женщины! Этот второй враг оказался поопаснее школьного товарища!

Я исповедовался и причастился с восторженным благоговением: аббат Олет потребовал, чтобы всеобщее примирение воспитанников предшествовало этому таинству.

Мать моя присутствовала в церкви и плакала от умиления. Мастерницы также захотели участвовать в семейной радости. Вспоминаю я и теперь об этом торжестве со слезами на глазах. Увы, тогда были другие слезы: сердце мое трепетало от восторженного блаженства: чистая, детская вера наполняла его!..

Теперь я расскажу, каким образом выяснилось мое призвание. Один из товарищей приручил щегленка, ставшего вскоре любимцем и баловнем всего класса. Неизвестно по какой причине, щегленок этот скоростижно умер. Горе всего класса было искренно, и решено было воздвигнуть покойному памятник. Хозяин околелшей птички Константин Риц, сын известного скульптора, поручил это дело мне.

И вот я горячо принялся за сооружение монумента. После многочисленных попыток и проектов я вылепил род жертвенника с разбитой урной, красиво задрапированного и окруженного колоннадой. Латинский стих упоминал о добродетелях героя, к сожалению, я забыл этот стих.

Константин Риц показал памятник своему отцу, и скульптор нашел исполнение многообещающим и пожелал познакомиться со мной.

В воскресенье я отправился к нему.

Г-н Риц давно овдовел и жил с двумя детьми, шестнадцатилетней дочерью и сыном, моим товарищем, Константином.

Обстановка богатого артиста привела меня в неописанное восхищение. В мастерской я разинул рот от восторга и не сводил глаз с мраморных и бронзовых статуй! Скульптор забавлялся моим восторгом, показывал, повертывал группы и, наконец, спросил:

— Что вам здесь понравилось более всего?

— Вот это! — ответил я без колебания.

— Почему именно это?

— Потому что человек этот красавец, и я понимаю, что он делает.

— Что же он делает?

— Борется.

— С кем?

— С другим человеком.

— Однако другого тут нет.

— Я угадываю его.

— Верно, дитя мое! У вас есть художественное чутье. Эта статуя — знаменитый «борец». Копия с античной. Остальные же — мои!

Я смутился. Не сделал ли я неловкости? Но нет, г-ну Рицу понравился мой искренний ответ.

Обедать я отправился к матери.

— Хорошо ли тебя приняли? — осведомилась она.

— О да, мама!

И я восторженно описал ей мои впечатления, прибавив, что сделаться художником — величайшее счастье.

— Ты знаешь, что мешать тебе я не буду, — сказала она. — Советовать не могу, я невежда. Положение наше ты знаешь — мы должны зарабатывать на кусок хлеба.

Разговаривая с матерью, я машинально смотрел вокруг и заметил, что как будто недостает чего-то.

— Где твои бронзовые часы? — спросил я наконец.

Эта была единственная ценная, старинная вещь во всей квартире.

— Отдала починить! Они испортились... — отвечала она, но я понял, что она говорит неправду.

Так вот что! Упорного труда бедной женщины не хватает на содержание и воспитание меня! Пришлось закладывать часы, а скоро дойдет дело и до носильного платья!

Решение мое было принято в тот же день.

Мне тринадцать лет; свое образование я могу пополнить сам, а теперь необходимо помогать матери, снять с ее плеч непосильную тяжесть.

Скульптор Риц был художником в душе; но у него не доставало божественной искры, чтобы создать что-нибудь самостоятельное, гениальное. Он сам это знал и составил себе славу, делая бюсты по заказу. Моделями ему служили преимущественно дамы-аристократки; изящные и элегантные, слегка приукрашенные портреты из бронзы и мрамора приводили их в восхищение и щедро оплачивались.

Конечно, такие работы не выдерживают серьезной критики, и г-н Риц сам понимал это. Тем не менее он любил искусство, был тонким ценителем его и горячо желал видеть своего сына настоящим художником. К сожалению, у Константина не обнаружилось никаких талантов. Военная карьера привлекала его. Отец не противоречил и готовил его в школу Сен-Сир. Этим объясняется его симпатия к моему таланту: он прозрел во мне хорошего ученика, богато одаренную натуру, которой он мог передать тайны своего любимого искусства. Ответ мой насчет «борца» окончательно убедил его в этом.

После обеда я опять вернулся к г-ну Рицу, и он спросил, не хочу ли я поступить к нему в ученики. Я энергично ответил: «Да».

Два дня спустя, после переговоров с матерью, решено было, что я пробуду в школе до каникул, а в августе поступлю учеником в мастерскую моего покровителя и буду жить у него.

Я начал неумолимо работать и делал быстрые успехи. Целый день проводил я в мастерской, усваивая технические приемы искусства, посещал музеи и галереи и не стремился более никуда.

Мать часто приходила навещать меня и радостно выслушивала похвалы г-на Рица, предсказывавшего мне блестящую будущность. Сама она находила великолепным все, что выходило из-под моего резца. Первой моей самостоятельной работой был ее бюст. Я начал понемногу зарабатывать, помогая учителю в заказах.

Незаметно летели годы; я стал уже юношей и хотя чувствовал смутную потребность любви, но мечты мои были чисты и наивны: я думал не «о женщинах», как большинство молодых людей, но «о женщине», единственной, идеальной, которую я полюблю на всю жизнь.

С дочерью г-на Рица я состоял в товарищеских отношениях и, не обращая внимания на ее красоту, никогда не смотрел на нее иначе как на молодую, веселую сестру.

Видел я много дам, приходивших в мастерскую учителя; но, сравнивая их с мраморными Венерами, я находил их похожими на жалких, хотя и блестящих кукол. Часто за обедом г-н Риц говаривал:

— Боже, как скверно сложена m-me N! Какие руки! Плечи! Ни на что не похоже!

Не раз слышал я от матери:

— Работай, дитя мое, работай!.. Придет время, найдешь добрую, хорошую жену. Она составит твоё счастье. Мы будем жить вместе, я стану воспитывать твоих детей!

Таков был и мой идеал счастья.

Константин, бывший старше меня на два года, смотрел на жизнь иначе. Приходя по воскресеньям из военного училища, он посвящал меня в свои мечты, далеко не поэтические, и не хотел верить, что натурщицы и модели отца не возбуждают во мне физического любопытства. Напрасно уверял я его, что ни разу не видал ни одной позирующей натурщицы, что учитель лепит их один, без моей помощи, — ветреный юноша только лукаво посмеивался и недоверчиво качал головой. Иногда я не мог удержаться от смеха, глядя, как он принимал рыцарские позы и объяснялся в любви мраморным богиням, которые выслушивали его с высоты своих пьедесталов, не меняя позы и жеста.

Считаю долгом прибавить, что я отнюдь не желаю выставить себя в лучшем свете, чем Константина: просто натуры у нас были разные, и мы, каждый в своем роде, были естественны. Ему предназначено было судьбой любить женщин вообще, а мне боготворить одну, для которой я и предназначил себя. До встречи с «нею» — искусство поглощало все мои досуги.

Г-н Риц не мог мною нахвалиться, охотно показывал своим товарищам мои работы, а те, в свою очередь, поощряли меня. До сих пор, однако, занимался я только копией и фантазией; но с натурой еще не имел дела.

Раз вечером, пока дочь его занималась музыкой, учитель сказал мне:

— Завтра вы попробуете лепить с натуры. Мне любопытно посмотреть, как вы справитесь. Приготовьте пораньше глину — натурщица придет утром.

— Натурщица?

— Да.

— Стоя или лежа?

— Стоя.

Всю ночь я не спал.

В семь часов утра глина была готова, когда вошел г-н Риц.

— Расположены? — спросил он.

— Да.

— Позавтракаем и за дело.

В девять часов в мастерскую постучались. Вошла натурщица.

То была девушка лет двадцати двух, в поношенном синем платье и старенькой шляпе. Клетчатый платок на плечах, грубая обувь, разорванные перчатки — что же удивительного? Богатая особа не станет позировать за шесть франков в сеанс!

Но голова Мариетты также не представляла ничего выдающегося: кроткие глаза, каштановые волосы, грубоватый цвет лица, курносый носик, заурядный профиль, голос приятный.

Ни к чему прибавлять, что г-н Риц обращался со своими натурщицами ласково и приветливо.

— Вы простудились, дитя мое? — спросил он, услышав, что она раза два кашлянула.

— Да, в мастерской П*. Сначала было жарко, а потом камин потух. Ему нечувствительно, он одет.

— Над чем он работает?

— Не знаю.

— Вы не взглянули?

— Нет. Он этого не любит. Знаю только, что я стою на коленях с испуганным лицом, подняв руки вверх. Должно быть, опять «флорентийский лев» какой-нибудь.

Я невольно улыбнулся.

— Не беспокойтесь, — сказал г-н Риц, — сегодня руки не будут вверх.

— О, мне все равно. Здесь тепло.

— Ну-с, начнемте.

Мариетта отошла от камина. Я нервно мял в пальцах глину.

Не спеша сняла девушка шляпу и платок, взошла на эстраду и спокойно спросила:

— Вся фигура вам нужна?

— Да.

— Давайте позу! — сказала она и в то же время очень красиво подняла руки, поправляя косу.

Я обратился к учителю, прилегшему на диван, но он предоставил мне самому выбор позы.

— Ту самую, которую она сама сейчас приняла! — решил я не совсем уверенно.

— Хорошо!

Но Мариетта уже опустила руки.

— Поправляйте волосы, как сейчас делали! — обратился я к ней. — Не так... голову откиньте назад... поверните сюда...

И безотчетно, увлекаясь своей идеей, я вскочил на эстраду и поставил натурщицу в желаемой позе.

Смущения моего как не бывало: живая женщина перестала существовать; передо мной была мысль, форма, которую я должен увековечить. Я засучил рукава и энергично принялся за глину.

— Я тоже пойду работать, — сказал учитель, направляясь к двери, — поддерживайте огонь в камине.

— Должно быть, мне на роду написано позировать с поднятыми вверх руками! —

засмеялась Мариетта.

Незаметно пролетели два часа, я работал до пота и не замечал этого, так же как не замечал и усталости натурщицы.

— Не шевелитесь, не шевелитесь! — твердил я.

— Не отдохнуть ли? — произнес вдруг позади меня голос г-на Рица.

— Хорошо бы! — подхватила Мариетта и, быстро надев юбку и платок, подбежала к камину и подкинула углей.

Я вытер мокрое лицо и взглянул на учителя, рассматривавшего мою работу.

— Удивительно! — бормотал он. — Удивительно! Я не ошибся в вашем таланте!

— Правда?

— Да. А теперь я позволю себе высказать критику. Запомните хорошенько: искусство не должно ограничиваться слепым воспроизведением природы. Искусство — это сумма правдивых красот, которую вы тщетно будете отыскивать в одном субъекте. От таланта зависит пополнить природу, схватить форму там и сям, изменить некрасивую линию, поправить воображением реальную ошибку... вложить в произведение чувство и мысль, так как мы бессильны вложить душу! Словом, тот, кто, не выходя из пределов «прекрасного», остается верным «правде», — истинный художник. Таковы: Фидий, Микеланджело, Рафаэль. Сегодня я подверг вас испытанию, и вы вышли из него с честью. Смущения и колебания не было; у вас было только естественное волнение и порывы артиста. Bravo! Вы на верной дороге. Не сбивайтесь с нее. А теперь критика. Встаньте, Мариетта, примите ту же позу. Так. Вы поймали природу в одном из ее наивных движений — верный глаз! Но только поза эта хороша для каминной статуэтки, для украшения этажерки, но недостойна серьезного произведения искусства. Сюжет мелкий. Затем вы не обратили внимания на другую сторону позы. Повернитесь, Мариетта, — видите, как неграциозно сдвинуты лопатки? Голова ушла в плечи, шея в складках, спина вогнута! Статуя должна рассматриваться со всех сторон. Выходит, что движение, прельстившее вас, неудачно и требует изменения. Опустите немного руки, Мариетта, плечи у нее некрасивы, ни к чему обнажать их — округлите локти, держите голову прямо, глаза кверху. Посмотрите, сколько смысла прибавилось: лицо все видно, а не одни ноздри с подбородком. Руки с трогательной мольбой протянуты вперед, тогда как в первой позе они изображали угловатые ручки вазы. Вместо женщины, поправляющей прическу, перед вами юная мученица, наивная, готовая умереть за веру, пожертвовать прекрасной земной оболочкой ради идеи! Взгляните сзади: лопатки не уродливы, шея пряма, спина также. Теперь подумайте: удовлетворяет ли природа требованиям чистого искусства? В некоторых частях — да, в иных — нет. Вот здесь, — при этом г-н Риц с ласковой улыбкой тронул натурщицу, — здесь рука слишком тонка для торса, кисти чересчур велики, шея груба, не по росту. Ноги вверху тонки, щиколотки толсты — остальное все превосходно. Понимаете, что надо взять, а что изменить? Но это еще не все. Какой нации будет ваша мученица? Гречанка, римлянка или дитя севера? Разные типы! Как найти у натурщиц подходящую к сюжету наружность? Все это нелегко, очень нелегко! — заключил г-н Риц, проводя рукой по лбу и как бы говоря сам с собой. — Бессилие артиста — великое несчастье!

Мариетта между тем одевалась и, наконец, накинув на плечи шаль, ушла, очевидно, не поняв ни слова из объяснений скульптора.

Величие искусства и трудности, предстоящие художнику, стали выясняться передо мной. Сколько надо мне еще учиться, чтобы создать что-нибудь самостоятельное, бессмертное! Хватит ли энергии, времени?

Бедная девушка, переносящая из мастерской в мастерскую формы, которые должны вдохновлять артистов, произвела на меня впечатление непобедимой грусти. Умрет она где-нибудь в больнице, где же больше? Положат ее тело на анатомический стол, вскроют ради науки и нарушат гармонию форм! Мне искренно хотелось принести пользу этой несчастной Мариетте, которой я обязан был первым чистым вдохновением. И странно! Я уже считал ее формы «духовно» принадлежащими мне, я не желал, чтобы она позировала для других художников... Не было ли то предзнаменованием присущей человеку ревности? Не склонен ли сильно чувствующий человек считать своей неотъемлемой собственностью то, что принадлежало ему хоть минуту?

«Так вот что такое женщина!» — думалось мне между прочим.

Г-н Риц спросил о моих впечатлениях, и я откровенно высказал их.

— Хорошо, очень хорошо! — одобрил он. — Я рад, что подверг вас испытанию, и теперь не боюсь за вас. Вы прежде всего художник, и низменные чувства не задушат в вас вдохновения. Как вы богато одарены, дитя мое! В обществе установилось мнение, что развращенность царствует среди артистов. Настоящих артистов очень мало, но мнящих себя таковыми — легион. Между последними действительно царит распущенность; они склонны смотреть на натурщиц, как на живой товар, и воображают, что достаточно мять глину и поставить на эстраде модель, чтобы облечься в звание художника. Это недостойные самозванцы; но поверхностное мнение публики не делает различия и судит огульно. Истинный художник не может быть развращенным — у него преобладание духа над материей. Прочного союза не может быть между талантом и пороком: один из двух победит непременно! Однако артисты все-таки люди и редко проживут без любви. В большинстве случаев любовь их сосредоточивается на одной женщине, которой они безраздельно отдают всего себя. Я хочу этим сказать, дитя мое, что вы не ограничьтесь любовью к мраморным изваяниям: придет время, и вы полюбите живую женщину. Видите, я говорю с вами, как с равным, хотя вы еще юноша! Если вам суждено полюбить достойную женщину, то вы осуществите идеал слияния семейного счастья с талантом. От души желаю вам этого, потому что люблю вас, как сына, и прошу вас — во всех случаях жизни относиться ко мне, как к отцу. Матери не все можно сказать... Мои советы и участие всегда к вашим услугам!.. В искусстве же, — прибавил он с грустной улыбкой, — вы самостоятельно проложите себе дорогу и пойдете дальше меня!

Разговор этот остался мне памятным на всю жизнь. С этого дня я вступил на новый путь и отдался моему призванию.

Вечером я отправился к матери, сияющий, не чувствуя под собой земли. Сердце мое было переполнено грандиозными замыслами — все к моим услугам: расположение верного покровителя, горячая любовь матери, энергия, талант, слава в будущем.

Войдя в состав великой семьи художников, я мог проверить справедливость слов г-на Рица. Поэтому, защищая меня, не ищите оправдания моему преступлению в окружающей среде, в дурных примерах!.. Ничего подобного не было, и если прокурор вздумает

основывать на подобной теории свою обвинительную речь, смело вырвите у него оружие из рук: это подтасовка, ложный аргумент.

Прочел я первые главы моей исповеди... Сколько остановок и подробностей, не идущих к делу! Как заметно, что я боюсь приступить к главному! Однако надо решиться. Постараюсь забыть, что я сам герой происшедших ужасов!

У г-на Рица были еженедельные приемные дни. Дом его представлял такую почву, на которой сходились люди различных общественных ступеней. На одном из костюмированных вечеров дочь г-на Рица познакомилась с графом Нидерфельдтом, богатым шведом, служившим при посольстве, и несколько месяцев спустя вышла за него замуж.

На этом же вечере я познакомился с одной дамой, г-жой Лесперон, проявившей ко мне большую симпатию. Это была женщина-поэт, любившая окружать себя литераторами, актерами и художниками. В салоне ее собиралась самая разнообразная публика, читались трогательные стихи, воспевались звезды, луна, тени, вечерние колокола, безнадежная любовь и т. д.

Эта дама затеяла как-то устроить костюмированный бал, и я получил приглашение.

В одиннадцать часов, когда гости были уже в сборе, в зал вошла полная барыня в костюме Марии Медичи. С величавым видом, как и подобает королеве, обошла она зал, милостиво раскланиваясь направо и налево. Гости шутливо поддавались этой комедии и отвечивали ей низкие поклоны.

Королева была видная женщина лет сорока пяти, с остатками несомненной красоты; но к несчастью для нее, за ней шел юный паж и нес ее шлейф.

Стоило взглянуть на пажа — и Мария Медичи переставала существовать! Вообразите себе девушку-подростка, лет четырнадцати, бутончик, готовый распуститься, — да нет, никакого сравнения не подберешь для описания этой дивной красоты!

Для меня это было воплощением женщины — идеала, поэзии, судьбы, управляющей поступками, помыслами и нравственностью мужчины, со дня сотворения мира вершительницей судеб человеческих! Отдать весь мир за любовь такого совершенного существа показалось мне делом самым естественным. В памяти моей воскресли Ева, Пандора, Магдалина, Клеопатра, Фрина, Дездемона, Далила, Манон Леско и шептали мне на ухо: «Теперь понял?» И я без колебания отвечал: «Понял!»

Королева с пажом обошли зал. Появление их произвело впечатление; они прошли мимо меня, и я вздрогнул, когда красавец-паж скользнул по мне взглядом, не изменяя своей шаловливой улыбки.

Но вот начались танцы. Королева протанцевала кадрили со своим пажом, после чего я решительно подошел к девушке и пригласил ее на следующую кадрили.

— Разве мужчины танцуют между собой? — игриво сказала она. — Я пойду приглашать даму!

Я рад был ее словам. Если не со мной, то, по крайней мере, ни с кем из других мужчин она танцевать не будет...

Я не спускал с нее глаз, да и не один я — все взгляды с восхищением были прикованы к ней.

Между тем королева, усевшись в уголке, громко разговаривала и шумно обмахивалась веером. Я пристально посмотрел на нее и нашел неприятные черты в ее красивом лице: глаза суровые, точно стальные, рот чересчур тонок, голос грубый, металлический. Говорила она без умолку, и до меня долетали фразы: «моя старшая дочь», «ее отец», «эта дочь», «мой зять» и т. д. Особы, слушавшие ее речи, рассеянно кивали головами и поддакивали, очевидно, утомленные ее многословием.

А паж все танцевал, возбужденный, радостный...

«Бедная девочка!» — думал я, видя, как она прижимает руку к сердцу от изнеможения, и сердился мысленно на жирную королеву, вывозившую юную дочь в таком откровенном костюме.

Наконец, девушка, видимо, выбилась из сил, прошла в соседнюю комнату, служившую уборной, села в кресло и начала грациозно обмахиваться платком; головка ее машинально покачивалась в такт музыке, затем склонилась на одну сторону, рука бессильно опустилась — красавица заснула.

Я стоял у двери, как очарованный. Где я видел это личико? Черты как будто были мне знакомы! Смутное, отдаленное воспоминание рисовало мне какого-то другого мальчика, только настоящего, но имени его я никак не мог припомнить...

Так готов был я провести всю ночь, глядя на спящую Изу (так звали пажа), но вокруг меня собрались любопытные. Я сделал знак, показывая, что она спит: все притаили дыхание, оркестр смолк.

— Нарисуйте с нее эскиз! — шепнул мне г-н Риц.

Мигом отыскали лист бумаги, перо, чернила, и я принялся с восторгом за дело.

Какая-то барышня села за рояль и тихо начала играть «Колыбельную песню» Шопена. Мелодия как нельзя более подходила к чудной живой картине. Сзади меня слышались фразы сдержанного поощрения: «Браво! Прекрасно! Отлично!» — а я с восторгом рисовал, стараясь набросать смелыми штрихами непринужденную позу заснувшего ребенка.

Между тем рассвело; один из гостей вздумал потушить газ — дневной свет ворвался в комнаты, и пораженные дамы спасались бегством, будто костюмы их вдруг срывались с плеч по мановению волшебника.

Иза проснулась от шума, обвела глазами вокруг себя, улыбнулась, встала и откинула локоны со лба. Дневной свет, обезобразивший усталые и подкрашенные лица других дам, не вредил ее свежей красоте; он как бы любовно ласкал нежное личико. Она поняла, что во время ее сна случилось что-то, и подошла взглянуть на мой рисунок.

— Это для меня? — наивно спросила она.

— Разумеется, для вас. Только надо высушить эскиз... Если матушка ваша позволит, я принесу его к вам.

— Сегодня?

— Да, сегодня.

Мать и дочь тревожно переглянулись.

— Дело в том, — начала мать, — что мы на бивуаках... помещение у нас плохое...

— Не все ли равно, сударыня! Впрочем, если угодно, я пришлю рисунок...

— Нет, принесите сами! — сказала девушка.

Я пошел проводить их в переднюю. Боже, как жалки показались их костюмы при дневном освещении! Бумажный бархат, дешевый атлас, да еще местами вытертый!..

Прежде чем влезть в фиакр, мать завернулась в яркую клетчатую шаль, а Иза накинула на плечи старенькую шубку с разорванной подкладкой. Старуха велела ей снять шапочку пажа и надеть голубой капор. Утро было холодное, и она опасалась простуды. Затем Мария Медичи напялила калоши, обнаружив массивные ноги в толстых чулках и поношенных атласных ботинках.

— Садись скорее! — говорила она, подталкивая дочь в экипаж. — Смотри не простудись.

Двое кавалеров усердно втиснули ее вслед за пажом, и взгляд ее королевского величества ясно говорил, что недурно бы кому-нибудь из подданных заплатить за фиакр... Я предложил бы свои услуги с восторгом, но не посмел.

Уличные мальчишки, собравшиеся поглазеть, не преминули пустить по адресу королевы-матери несколько насмешливых прозвищ, кучер счел долгом замахнуться на них

бичом, но ударил лошадей, и карета тронулась, мальчишки с хохотом разбежались. Иза высунулась из окна и крикнула мне:

— Не забудьте мой портрет!

Мать громко сказала кучеру:

— Набережная Эколь, 78.

Жалкий фиакр уехал, унося с собой всю мою жизнь.

Я вернулся с этого бала вместе с Константином и удивлялся, что он весьма умеренно восхищается Изой.

— Вот младенец! — говорил он. — Не влюблен же ты в нее?

— Не влюблен, а восхищен. Красивее этого создания я не встречал.

— Она напоминает мне статуэтку из саксонского фарфора! Того и гляди разобьется.

Это не «серьезное искусство» — как говорит отец. Знаешь, на кого она похожа?

— Ты тоже нашел сходство с кем-то?

— Да, и поразительное.

— Скажи скорее! Я тщетно ломаю голову весь вечер!

— На одного из наших школьных товарищей... которому ты расквасил нос!

— Минати! — воскликнул я. — Верно! Как это я не вспомнил раньше!

— Если нравственное сходство такое же удивительное, как наружное, — славная штучка выйдет из этой барышни. А мать! Вот тип-то! Должно быть, видала виды, шельма!

Я переменял разговор. Как мать, так и дочь были для меня посторонними, но я не желал, чтобы о них дурно отзывались.

Спать я не мог, а занялся ретушевкой эскиза и находил, что время не движется...

Что я чувствовал? Не влюбился же я в самом деле в подросточка? Не знаю, только потребность видеть Изу была непобедима. Девочка, которую я, быть может, увижу в коротком платьице, заставила меня понять, что такое любовь. Наполовину я ничего не умел делать и весь предался этому странному чувству, не анализируя и не определяя его.

В полдень я очутился перед домом под № 78, старым и неказистым на вид. Но что за дело до клетки? Ласточки вьют гнезда где попало, но ведь они приносят с собой весну и радостную надежду.

— Третий этаж! — раздался голос привратника.

Лестница, винтовая и темная, похожа была на колодезь, опрокинутый вверх дном. Чем выше я поднимался, ошупью держась за перила, тем непрогляднее становилась темнота.

На третьем этаже я буквально наткнулся на дверь, насилу отыскал звонок и с трудом извлек из него дребезжащий звук.

— Кто там? — спросил молодой голос, который я тотчас узнал.

— Это я, Пьер Клемансо, принес ваш портрет.

— А! Я еще не одета... Подождите минутку.

Послышалось удаляющееся шлепанье маленьких ножек в туфлях; через несколько минут дверь отворилась в полутемную прихожую. Передо мной вырисовывался силуэт молодой девушки, с блестящим сиянием вокруг белокурой головки.

— Мама ушла, — объяснила Иза, — мы не ждали вас так рано.

— Однако, несмотря на ранний час, мамы вашей уже нет дома? — оправдывался я.

— О, мама вышла по делам. Пожалуйста в гостиную.

Комната, носившая это название, оклеена была дешевыми обоями, местами запачканными и оборванными. На стене висел большой портрет без рамы, изображавший усатого господина в иностранном мундире с орденами. Старый желтый диван, красное кресло, несколько сомнительных стульев и рабочий столик у окна довершали обстановку. На мебели валялись принадлежности вчерашних костюмов, посреди этого беспорядка, грязи и пыли — Иза, т. е. молодость, грация, весна, жизнь!

Она закуталась в широкий голубой халат, очевидно сшитый не по ней; он беспрестанно распахивался, и я заметил, что внизу была надета только белая юбочка и туфли на босые ножки. Наконец ей наскучило придерживать непослушный халат рукой, она схватила со стула тюлевый шарф и завязала его вокруг талии.

— Ну, ну, покажите! — заторопилась она, теряя туфлю, и поспешно, игривым детским движением лоя ее ногой!

— Какая прелесть! — восхищалась она, рассматривая эскиз. — Как жаль, что я спала! Глаз моих не видно.

И говоря это, она подняла на меня свои чудные синие глаза, опущенные длинными ресницами, — глаза Андрэ Минати!

— Я напишу еще ваш портрет, — подхватил я, — два, десять, если хотите.

— Когда?

— Когда угодно, хоть сейчас.

— Не здесь — тут гадко. Лучше у вас в мастерской.

— Если так, то я вылеплю ваш бюст.

— Неужели?

— Непременно.

— Только вот горе: мы уезжаем через неделю!

— Успеем! Времени довольно.

— И вышлете мне этот бюст?

— Разумеется.

— В Польшу?

— Куда прикажете.

— Он сломается.

— Нет. Впрочем, если хотите, я оставлю его у себя до вашего возвращения...

— Я больше не вернусь.

— Никогда?

— Никогда. Там меня выдадут замуж.

— Вы уже думаете о браке?

— Не я, а мама. Нельзя ли сделать бюст с руками? Говорят, они у меня очень хороши.

И она наивно показывала свои руки, действительно верх совершенства: необычайной правильности и белизны, с тонкими пальцами, слегка загнутыми кверху, с розовыми ногтями. Таких белых гибких рук надо бояться больше, чем когтей тигра... Они указывают на вкусы, характер и наклонности женщины.

— Как они белы! — заметил я. — Это редкость в ваши годы!

— Я сплю в перчатках. Мама очень заботится о моих руках; она говорит, что руки и ноги — главная красота женщины.

Она сделала было движение, чтобы показать мне ногу, но удержалась.

Какая смесь наивности, кокетства, гордости! Сколько грации даже в недостатках!

Вдруг Иза спохватилась:

— Мы не в состоянии заплатить за бюст... Мы небогаты... Но я сделаю вам изящный кошелек. Смотрите, какие я умею делать!

Она вытащила из рабочего столика кошельки своей работы, и я рассеянно рассматривал их, как вдруг дверь с шумом растворилась: с таким азартом влетают ревнивые мужья! То была мать. Я подпрыгнул от неожиданности, но Иза спокойно повернула голову.

— Ах, это ты, мама? Как ты стучишь дверью!

— Привратник сказал мне, что у нас в гостях молодой человек.

— Ну, так что же?

— Как что же? Это неприлично.

— Почему?

— Потому что неприлично! И я решительно не понимаю, зачем этот господин явился в такой ранний час и вошел к девушке, когда матери нет дома.

Я бормотал бессвязные извинения.

Иза перебила меня и начала что-то быстро объяснять по-польски. Мать смягчилась и взяла в руки портрет, продолжая болтать.

— Ступай одеваться, крошка моя. Вы понимаете, что девушку скомпрометировать нетрудно: одной минуты достаточно. А в нашем положении всякая сплетня может повредить, — я говорю, разумеется, об Изе... о себе я не забочусь. Если бы я не так строго наблюдала за старшей дочерью, то она не сделала бы блестящей партии! А она вполне достойна ее, так как происходит из знаменитой польской фамилии. Но мы были небогаты, а богатство везде играет первую роль, в Польше так же, как и во Франции! Муж мой разорился во время войны. Он стоял за свободу. Безумный! Правительство предлагало ему массу выгод — он отверг их. Брат же его согласился и прекрасно сделал. Теперь он занимает важный пост в Петербурге. Он младший брат; но после смерти Жана (моего мужа) остался единственным представителем рода. Наши владения были конфискованы. Я не имею причин быть патриоткой (я не полька, а финка) и обратилась к зятю с просьбой похлопотать, чтобы вернуть наши имения; недавно получила я хорошие вести, вот для чего мы уезжаем. Старшая

дочь моя сделала богатую партию, хотя приданого у нее не было. Она хороша собой, однако хуже Изы. Пишет мне нежные письма, только и всего. Нет чтобы помочь матери! На это нечего рассчитывать. Каков успех имела вчера Иза! И везде так! Этой девушке место на троне, подождем — увидим. У нее все инстинкты королевы! В России бедные девушки часто выходят за князей, графов, даже еще повыше! Дочь моя благородного происхождения, не хуже Черторыжских и Радзивиллов. Почему знать? Я воспитываю Изу для этой цели. Она знает четыре языка: французский, английский, польский и русский. Кстати: надо бы сделать ее хорошенький портрет, я бы послала куда следует. У меня есть ходы, помимо зятя, не одобряющего моих планов, из зависти, конечно! Глупец! Иза никогда не возгордится и не забудет своих! Сердце у нее золотое! Работает она, как маленькая волшебница, не тяготится лишениями! Краснеть нечего за свою бедность. Вам, молодой человек, зарабатывающему свой хлеб искусством, я поведаю откровенно: бывали дни, когда в кармане у нас не было ни гроша! А Иза распевала как птичка и вязала кошельки на продажу! Да-с, графиня Доброновская вязала кошельки! Вы спросите, зачем мы ездим на балы? Надо же доставить развлечение крошке! На балах можно встретиться с важными и полезными особами! Недавно познакомились мы с директором какого-то театра, он предлагал мне ежегодную пенсию в четыре тысячи франков, если я поручу ему Изу. Она ведь поет превосходно. Он брался подготовить ее к сцене и содержать нас до самого дебюта! Я отказала. Не правда ли: графиня Доброновская, да еще такая писаная красавица, на подмостках! Конечно, директор не имел худых намерений. Я только хочу сказать, какое впечатление производит Иза. Между нами, я все-таки предпочла бы видеть ее на сцене, зарабатывающей талантом 200 000 франков, чем замужем за каким-нибудь ничтожным человеком, неспособным ни оценить ее, ни дать ей приличной обстановки! Вообразите ее женой мелкого чиновника?! Она создана, чтобы блистать, властвовать! Только надо беречь ее репутацию! Она олицетворенная невинность: ни одно двусмысленное слово не доходило до ее ушей! Во-первых, я и сама вела себя безукоризненно, несмотря на то, что была красавицей. Даже и теперь я могла бы выйти замуж вторично... но не хочу. Вот почему мне неприятно было услышать от привратника, что вы сидите с Изой вдвоем... во-первых, я не знала, что это вы... да если бы и знала, все равно. Я всех мужчин ставлю в этом случае на одну доску — что плохо лежит, то возьмут. На улице нас каждый день провожают — брать фиакр не по средствам. Иза на вид старше своих лет, ей всего четырнадцать, подумайте! А сложена-то как? Такая модель для артиста — находка! Между вашими натурщицами не найдешь ничего подобного. В старину дамы из высших классов не стеснялись позировать, как их создал Творец... Теперь не те времена! Все удивляются, все осуждают. Отец Изы был красавец в полном смысле слова. Великолепный мужчина! Портрет его — вот он — сопровождает меня всюду. Раму я продала, неудобно возить... Я много чего принуждена была продать. Вот и сейчас, знаете где я была? В ломбарде! Ни к чему скрывать перед вами. Заложила ценную вещь, которую австрийский посланник поднес моей дочери, подарившей его дочке кошелек своей работы. А то бы мы не знали, что и делать. Все это между нами: если узнают о нашей бедности, я умру со стыда! Скоро нам должны прислать денег из Польши... а пока надо как-нибудь перебиваться.

— Боже мой, сударыня! — пылко воскликнул я, как только нашел возможность вставить слово, — я небогат и сочувствую вашему положению! Мать моя трудится и воспитывала меня на заработанные гроши. Однако теперь я сам уже на ногах и почел бы за счастье быть вам полезным.

— Вы доброе дитя! — произнесла графиня, взяв меня за руки. — Пока нам ничего не нужно. Если при отъезде случится недочет, я обращусь к вам. Счастье еще, что квартира у нас даровая! Хозяин ее мой старый знакомый, уехал путешествовать и предложил нам свое помещение. Незавидное, правда, а все-таки экономия.

Вошла Иза, закутанная по-зимнему для прогулки. Мать, в свою очередь, пошла одеваться.

Мы снова остались вдвоем с девушкой, личико которой показалось мне усталым, даже страдальческим. Она села против окна и уныло смотрела на холодный, неприветливый день.

Сходство ее с Минати поразило меня еще больше, и сердце мое дрогнуло при мысли, что она может умереть такою же смертью, как мой школьный товарищ.

— Что вы на меня так смотрите? — спросила она.

— Вам нездоровится, и мне вас жалко!

— Голова кружится! Плохо спала.

— Зачем вы ездите на вечера? Это вас утомляет!

— Мама так хочет. И она права: надо.

— Почему же надо?

— Так!

— Кроме того, — продолжал я, — вы очень напоминаете мне одного товарища...

— Мальчика?

— Да, но он был хорошенький, как девочка.

— Как его звали?

— Андрэ Минати.

— Вот странно! Вы его знали?

— Да, мы вместе учились у г-на Фремин... Там он и умер.

— Мама! — крикнула Иза.

— Что тебе? — отозвалась графиня из другой комнаты.

Девушка начала что-то быстро сообщать матери по-польски, уголком глаза следя за мной. Напрасная предосторожность: я не понимал ни одного слова.

Мать ответила односложным словом, означавшим, по моему мнению, «нет».

— Итак, — обратилась ко мне Иза, точно переговоры с матерью не имели никакого отношения к нашим словам, — я очень рада, что напоминаю вам школьного товарища. Дольше будете обо мне помнить.

Появилась графиня.

— Пойдем скорее. Прогулка будет тебе полезна. Вы видели ее руки?

— Да.

— Посмотрите-ка хорошенько!

Она заставила меня полюбоваться красивыми руками Изы, затем горячо расцеловала их, говоря:

— Ты красавица!

Девушке, видимо, приятны были похвалы; румянец вспыхнул на ее щеках, она радостно улыбнулась. Усталости как не бывало.

Мы вышли вместе.

— Держись за перила, — предостерегала мать, — не поскользнься!

Я проводил дам до Елисейских полей, и все встречавшиеся мужчины обращали внимание на красоту Изы, оборачивались назад, а некоторые даже останавливались, точно

окаменев от восторга, так что мы принуждены были обходить их, чтобы продолжать дорогу. Иза, разумеется, понимала, что производит впечатление, и это ей, очевидно, нравилось. Решено было, что Иза придет позировать ко мне в мастерскую на следующий день. Простившись с ними, я отправился к матери и рассказал ей о моем новом знакомстве. Девушке четырнадцать лет, и через неделю она уедет; матери моей и в голову не пришло, что с этой стороны грозит опасность. Да я и сам далек был от этой мысли, поэтому и рассказал ей все мои впечатления и недоумения.

Костюм пажа, грязная квартира, бедность, кокетство, невинность, мечты о каком-то троне, ломбард — я положительно терялся в этой путанице. Как понять такие дикие противоположности: нищета и балы, даровая квартира старого приятеля и надежда породниться с сиятельными лицами, ломбард и костюм пажа, вязанье кошельков, чтобы прокормиться, и спанье в перчатках?.. Я решительно недоумевал, так как не вращался в обществе, где подобные противоречия уживаются.

Моя мать также не умела объяснить мне этих несообразностей, а только, качая головой, говорила:

— У этой барыни, кажется, совсем нет здравого смысла! Бедная девочка! Что она готовит дочери, которая, по твоим словам, мила и красива!

Г-н Риц, которому я также рассказал о моем визите к графине и о вынесенном впечатлении, сказал мне следующее:

— Жизнь объяснит вам эти странности. Слепите хорошенький бюст с этой девицы, даже статую во весь рост, если мать предложит — чему я не удивлюсь, но забудьте думать о них. Право, не стоит.

На следующий день явились ко мне графиня с Изой, и я начал бюст, который под названием «Пробуждение» положил фундамент моей известности. В три дня я его окончил и снял слепки с рук и ног моей прелестной модели. «Бабушка», как фамильярно звала Иза свою мать, приходила в такой экстаз от красоты дочери, что, изъяви я желание вылепить ее всю с натуры, она бы позволила, как и предвидел мой старый учитель!

Пребывание их в Париже продолжалось, и у них вошло в привычку посещать меня ежедневно.

Иза чувствовала себя в моей мастерской как дома, смеялась, играла, работала, пела, спала; кончилось тем, что она вошла в сущность моей работы, жизни, моих мыслей. Даже постоянное присутствие матери не тяготило меня. Ее нескончаемая, непрерывная болтовня убаюкивала меня, как мотив восточной мелодии, к которой ухо привыкает. Мне было хорошо с ними, и я однажды сказал:

— Хотелось бы мне таким образом всю жизнь прожить!

— И мне также! — подхватила Иза. — Мама, не остаться ли нам в Париже?

— Ты знаешь, что это невозможно! Что из тебя будет?

— Я вырасту и выйду замуж за г-на Клемансо. Ведь вы возьмете меня?

— Разумеется.

— Хороша пара! — заметила мать. — Оба бедны!

— На что нам богатство? — спросила девушка.

— К тому времени у меня будут хорошие средства! — возразил я.

— Слушайте, — обратилась ко мне Иза, — если я не найду обещанного мамой короля или принца, я буду вашей женой, честное слово. Решено?

— Решено!

— Интересно, если это сбудется!

И она весело засмеялась.

— А пока, — вмешалась мать, — завтра мы уедем и, вероятно, больше не вернемся.

При прощанье графиня сказала мне:

— Милое дитя, я с вами не стесняюсь, как будто вы родной... Конечно, я могла бы обратиться к другим, но вы первый предложили мне... Словом, денег у нас маловато... Надо купить кое-что для Изы. Одолжите мне пятьсот франков, я немедленно вышлю их вам из Варшавы...

Я с восторгом исполнил ее просьбу; это одолжение являлось лишним звеном в наших отношениях, и я радовался, что могу услужить Изе.

Я ответил, что на следующий день принесу деньги, и пригласил обеих дам отобедать в ресторане.

В шесть часов мы сошлись в Пале-Ройяле; я заказал прекрасный обед и под салфетку прибора графини сунул билет в 500 франков. За столом старуха выпила и стала еще болтливее; опытный человек на моем месте, прислушавшись к ее разговору, нашел бы многое подозрительным, но я только и думал о присутствии Изы и грустил о предстоящей разлуке с нею. Она же была весела и беспечна, как птичка: шалила, пела, то и дело повторяя между прочим: «Когда я буду богата, то сделаю то-то и то-то» — точно и сомнения не могло быть в ее будущем богатстве.

Я проводил их домой, обещал выслать бюст и портреты; решено было переписываться. Графиня выразила уверенность, что доставит мне кучу заказов от высокопоставленных лиц и, в конце концов, поцеловала меня.

Иза протянула мне обе ручки:

— До свидания, муженек мой!

— До свидания, женушка!

Мы произнесли это серьезно, но со слезами на глазах...

По крайней мере, я считал себя связанным... поверите ли, друг мой? Работая с этого дня, я надеялся на осуществление детской мечты в будущем, и она стала моей целью.

Недаром я поклялся жениться только по любви и сохранить душевную и телесную чистоту для этой идеальной любви. Таковы были мои юношеские грезы, и знакомство с Изой дало им новую пищу; идеал мой принял осязательную форму.

Однако надо заметить, что мой обет монашеской чистоты служил темой насмешек и любопытства в кружке моих товарищей-художников. Меня называли Нарциссом, Иосифом и т. д., сталкивали с красивыми легкомысленными женщинами, присылали мне натурщиц из падших созданий. Я любовался их красотой, лепил с них статуи и на все их заигрывания отвечал, что мне некогда терять время на пустяки.

После отъезда Изы я сделал статую Клавдии; шумный успех ее заставил моих товарищей устроить мне оvation и задать пир в мою честь. В основе лежал злодейский заговор против моей сдержанности, не дававшей им покоя!

За обедом меня напоили, но как только г-н Риц удалился, стали подтрунивать надо мной и приставали до тех пор, пока я, словно в каком-то безумии, бросил пригоршню золота на стол и предложил невероятное пари.

Неужели это был тот самый застенчивый, наивный Пьер Клемансо? Возможно ли, чтобы несколько стаканов вина превратили его в дикого зверя, в хвастуна? Увы, это было так, хотя только на время опьянения.

Кто сказал, что Бог дал человеку свободную волю? Кому из смертных отдавал Господь отчет в своих планах и действиях? Может быть, первый человек, вышедший непосредственно из рук Творца, был одарен свободой воли, но мы знаем, как он употребил ее... С Каина свобода воли исчезает: он не властен в своих поступках и подчиняется физиологическому закону наследственности. Каин положил начало роковой неменяемости инстинктов!

Человек рождается с неотразимыми, двойными инстинктами — с одной стороны, ему передаются свойства матери, с другой — отца, следовательно, предков того и другого. В иной семье даже передается безумие, но властен ли человек побороть его или сойти с ума по своему желанию? Где же свобода воли? Так и в других свойствах души, сердца, физических отправлениях!

В моем организме резко проявлялось влияние, неотразимое, непобедимое и совершенно противоположное моему личному строю. Матери моей я обязан всем, что есть хорошего, справедливого, честного в моей натуре; но когда я бросился на Андрэ Минати и готов был задушить его, во мне сказался характер отца, я уверен в этом! Также и в тот день, когда меня напоили, весь мой идеализм, привычки, теории — все оказалось бессильным перед неумолимой наследственностью порока! С тех пор, когда бешеные порывы страстей превращали меня в раба, я с ужасом сознавал влияние «неизвестного» и невозможность бороться!

Да, я погиб в непосильной борьбе!

Безобразное пари я выиграл...

Проснувшись на другое утро и вспомнив все происшедшее, я горько плакал о своем падении и мысленно просил прощения у Изы.

Товарищи вчерашнего кутежа застали меня в жалком и угнетенном состоянии духа и шуточно просили у меня прощения. Но мне было не до шуток. Раскаяние сблизило меня еще больше с мыслью, что я не имел права располагать собою, что я не принадлежу себе, и я горячо поклялся не впадать в подобные ошибки.

Все на свете относительно и условно: опытный человек раскусил бы графиню с дочерью в продолжение нескольких часов и понял бы, что они обе искательницы приключений, — одна кончившая, другая начинающая. Я же, идеалист и мечтатель, сравнивая их с легкомысленной женщиной, помогавшей мне выиграть пари, заключенное в пьяном виде, возвел Изу и ее мать чуть не на пьедестал святости! Пошлая болтовня практичной графини казалась мне добродушной откровенностью старой семьянинки, а красавица-дочь ее — воплощением невинности и всех добродетелей в зачатке.

Однако эта оргия не прошла бесследно; организм мой был потрясен, как инструмент, из которого насильственно извлекли резкую ноту; нервы мои долго и жалобно звенели, не находя прежнего покоя. Женщина, сильная брюнетка, с низким лбом и черными бровями, получила прозвище «Клавдии», и приятели уверяли, что она влюблена в меня... Странная победа! Сердце этой куртизанки было так же холодно, как сердце любой из мраморных статуй! Как бы то ни было, но мы встретились с нею после того раза три-четыре, и всякий раз я тревожно вздрагивал, а она бледнела.

Я успешнее прежнего предался работе, находя отраду и развлечение в письмах Изы. Привожу здесь ее письма, которые хранятся у меня в целости:

«Дружок мой!

Не сердитесь, что я раньше не написала вам с дороги; мы очень устали; ночевали в Кельни, хотя в гостиницах все очень дорого. Теперь мы в Варшаве. Все собиралась написать вам, но мама хворала и дел было много. Как я жалею о Париже, о приятных часах, проведенных у вас в мастерской! Я часто думаю о вас. Не забудьте, что вы мой муж. Я не шучу, мой друг! Мама запрещает мне говорить об этом, но я все-таки скажу вам, что очень вас люблю и хотела бы быть с вами. Кончили ли вы мой бюст? Когда вышлете его? Уничтожьте цветы в волосах, мама уверяет, что волосы мои так красивы и густы, что украшений не требуют. На днях я была причесана по-гречески, и, по правде сказать, это очень шло мне. Я ехала на бал к одному флигель-адъютанту. Успех имела огромный. Веселилась, но все не так, как у г-жи Лесперон. Помните? До свидания, дружок мой, пишите чаще и не забывайте вашу маленькую жену

Изу Доброновскую.

P.S. Бюст можете переслать через секретаря посольства. Это ничего не будет стоить: он наш хороший знакомый».

Четыре месяца спустя:

«Вы, должно быть, удивлены, дружок мой, что так долго не получали от нас известий! Бюст получен. Один господин, серьезный ценитель, сказал, что работа восхитительна. Он предлагал за него маме две тысячи франков. Мама не продала. Вчера мы опять вернулись в Варшаву: ездили по делам в Петербург. Носятся слухи о войне. Если мы будем воевать в союзе с французами, то победим вас. Наши солдаты сильнее и красивее. Кажется, вы говорили, что в случае войны потребуют и вас? Тогда постарайтесь скорее попасть в плен, и мы будем часто вместе! Видела я сестру в Петербурге. Она хорошенькая, муж ее адъютант. Меня представили одному высокопоставленному лицу. Ах, как я была одета! Прелесть! Однако «он» не обратил на меня внимания. Мама говорит, что «он» не любит женщин. Не знаю, что это значит. Разве может быть неприятно видеть хорошенькую изящную женщину? Но «он» обещал маме протекцию. Сестра подарила мне несколько платьев и дорогой браслет. Пишите, что делается в Париже. Мы часто скучаем. До свидания, муженек мой. Ваша маленькая жена целует вас.

Иза».

«Как мило, что вы вспомнили день моего рожденья и прислали мне цветок в

письме! Мне минуло четырнадцать лет. Много подарков получила я, но ваш цветок мне всего дороже. Мама стала веселее: дела наши идут лучше. Мы познакомились с одним офицером, сыном нашего дальнего родственника. Молодой человек очень влиятельное лицо у наместника. Он очень любезен и умен, у него прекрасные лошади. Обещает выхлопотать нам возвращение конфискованных имений. Он изъявлял маме желание жениться на мне, но она находит его недостаточно богатым. У него двести тысяч франков дохода, по-моему, это хорошо, но бедная мама все мечтает о волшебном принце! Он подарил мне кольцо с бирюзой и бриллиантами стоимостью в 500 франков. Мама вам кланяется. Прощайте, дружок мой.

Иза».

«Опять долго не писала вам! Мама была больна, и дела наши пошли все хуже и хуже. По счастью, мы живем даром у тетки молодого человека, о котором я вам писала. Тетка путешествует, и мы полными хозяйками в ее загородном доме. Поместье чудесное, с оранжереями и парками. Мы никого не видим, за исключением этого молодого человека. Я езжу с ним верхом, выросла и поздоровела. Если дела наши не поправятся, то мы проведем зиму здесь. Надо экономить, что делать! До свидания, дружок, не забывайте «вашу Изу».

Затем пришло письмо от матери:

«Милостивый государь!

Тысячу раз прошу вас извинить меня, что до сих пор не могла выслать вам мой должок. Иза писала вам, вероятно (переписка с вами развлекает бедную крошку!), что у нас много хлопот и неприятностей. Конфискованные имения мужа до сих пор нам не вернули. Никогда еще мы так не бедствовали! Я не краснею: многие знаменитые фамилии прославились ударами судьбы, и мы принадлежим к числу их! Однако, кажется, горизонт наш проясняется, и, по-видимому, скоро наступит конец нашим несчастьям.

Первая получка денег — и я с благодарностью вышлю вам 500 франков, которыми вы ссудили меня. Поклонитесь вашей уважаемой матушке.

Искренно расположенная к вам

графиня Доброновская.

Р. S. Из газет знаю о ваших успехах и поздравляю вас от души. Пишите нам в Варшаву, Дворцовая площадь, № 17».

Год без писем. Затем:

«Друг мой! Будьте милы, отвечайте немедленно: сколько возьмет ваша матушка за полный комплект изящного приданого? Метки с коронами, белье только женское — а из мужских вещей — рубашка и халат. Таков здесь обычай: молодая дарит эти две вещи мужу. Половина платы вперед. Ваш друг

Иза Доброновская».

«Не ожидала я получить от вас такое грубое письмо. Что же оскорбительного в моей просьбе о приданом? Ведь у вашей матушки был белошвейный магазин, и я не могла знать, что она больше не работает! Жить своим трудом не позорно, мы с мамой часто работали на продажу. Тем не менее радуюсь, что матушка ваша может отдохнуть, и низко кланяюсь вам

Иза Доброновская».

Еще год молчания. Потом снова:

«У меня много огорчений! Вам первому поведаю их... Почему? Помните ли вы меня? Может быть, ненавидите? Я знаю, что вы живы, потому что слава ваша прогремела до нас. Счастливы ли вы? Помните ли маленькую Изу? Ей нужны ваши советы и дружба. Адресуйте мне ваши письма на имя 2-жи Ванды, Пивная улица, дом Гертмана. Мама не должна знать о нашей переписке. Она огорчена и хворает.

И...»

«Как вы добры и как я вас люблю, друг мой! Недаром я надеялась на вас. Письмо ваше тронуло меня до слез. Вы спрашиваете, что случилось? То, что надежды мамы оказались мыльным пузырем, и мы бедствуем, как никогда! Вы ее знаете: иллюзии, воздушные замки! Рассчитывала она на мой брак, это, конечно, не трон и не принц, а все-таки блестящая партия. Я готова была принести себя в жертву, так как не любила претендента, хотя он молод и богат. Не знаю, что наговорили про нас его семье, но он вынужден был взять свое слово назад. А мы уже наделали массу безумных трат, надеясь уплатить со временем. Серж знал это и не препятствовал. Он еще несовершеннолетний, и родители грозят лишить его наследства в случае женитьбы. На что он тогда и нужен? Конечно, мы не согласились на его предложение тайно обвенчаться за границей. Выгодная афера, нечего сказать! Семья его грозила нам судом и всякими ужасами. Пришлось уступить, и Серж уплатил наши долги. Т. е. не все, мама такая небрежная и половину забыла.

Сержа отправили за границу. Он пишет мне постоянно, просит подождать его совершеннолетия, клянется в любви. Но я не отвечаю. Дело наделало много шума. Мама чуть не умерла с горя. Затем, одно к одному, мы перессорились с зятем и сестрой: они, конечно, придрались к случаю, чтобы отстраниться от нас. Все ценные вещи, подаренные мне Сержем, мало-помалу, спускаются, а без них мы сидели бы голодные! Посоветуйте, что делать? Вы счастливец, мужчина, талантливый, свободный! Хорошо, что у меня есть голос и красота — буду давать уроки пения. Трудно, но надо жить. Предлагают ангажемент в Петербург, 20 000 франков, по-нашему 5000 рублей приблизительно; но мама ни за что не хочет. Все продолжает мечтать о богатой партии, с Сержем или с кем-нибудь другим. Она неисправима. Но с меня будет этих опытов! Посоветуйте

же: как скажете, так я и поступлю. Серж в Вене. Поедет в Париж и, наверно, посетит вас: он знает вас по громкой славе и по моим рассказам, даже ревнует меня к вам. И прав: я вас любила и люблю больше, чем его! А вдруг вас нет в Париже, и письмо мое не застанет вас? Господи! С какой тревогой я буду ждать вашего ответа! Не забывайте вашу маленькую жену! До свидания.

Иза».

«За что мне упрекать себя? Я ни в чем не виновата! Серж влюбился в меня, но разве это моя вина? Мама не оставляла нас вдвоем ни на минуту. Мне 16 лет, весьма естественно, что в меня влюбляются! В Париже мне не было четырнадцати, а вы мечтали жениться на мне!.. Только вы шутили? А Серж не шутит. Что же мне было делать? Мы бедны: если мама умрет, куда я денусь? Да и о ней я должна подумать, она столько обо мне заботилась! Жизнь, которую я вела, совсем не в моем вкусе. Показываться в публике, как курьезный зверь, слышать отовсюду восхищение моей красотой (а это ни к чему не привело!), все это может прискучить, уверяю вас. Но так хотела мама. Бывало, едем на бал с пустыми желудками, закладываем необходимые вещи, чтобы сшить мне нарядный туалет! Долги, неприятности, скандалы с кредиторами, на которых красота моя ничуть не действовала. Серж был богатым наследником, и я думала: выйду за него замуж, все эти мучения прекратятся. Положим, я в него не влюблена, но он хороший малый, я считаю его другом. Мама только и твердила, что он прекрасная партия, я и привыкла к мысли сделаться его женой. У меня же подобных расчетов нет: я бы предпочла выйти за человека, которого люблю, и всю жизнь прожить скромно возле него! Красота еще не все: если бы у меня было богатое приданое, я бы давно сделала блестящую партию. Так свет устроен. Нечего читать мне мораль, когда я спрашиваю вашего совета. В ожидании ваших советов я согласилась участвовать в концерте моего учителя пения — мне очень много аплодировали. Получила я всего пятьсот франков; немного, но все лучше, чем ничего! Если бы каждый раз зарабатывать постольку, я бы пела ежедневно: это меня не утомляет. Жаль, что вы меня не слышали, сказали бы свое мнение... На сцену вы не советуете поступать, говорите: «скользкий путь». Почему «скользкий» и что это значит? В таком случае пристройте меня, найдите хорошего человека, который пожелал бы приобрести добрую, верную жену и не гнался бы за приданым. Я его буду очень любить, петь стану только для него. Пусть только поторопится: наступают холода, а в Польше так же, как и во Франции, добрых муравьев мало! Пришлите мне ваш портрет. Я пришлю вам свой — мы оба, должно быть, изменились. Портрет я снимала не для вас, но посылаю его вам, потому что вы мой лучший друг. Прощайте, мой друг, любить вас не стоит, вы злой и сейчас подозреваете дурное во всем!

Иза Доброновская».

«Не дожидаясь вашего ответа, кричу вам, как утопающий: спасите меня, ради Бога! Не оставляйте здесь! На словах я вам все скажу, писать же

невозможно! Слишком тяжело обвинять родную мать! Ради всего святого, помогите мне, возьмите меня во Францию! Остаться дольше с мамой — нельзя. Какая сцена произошла у нас и из-за чего! Не могу написать, это выше моих сил. Нельзя ли мне поселиться у вашей матери? Я могу давать уроки, зарабатывать свой хлеб. Пусть говорят, что я бежала, что меня увез влюбленный — мне все равно. Я совсем потеряла голову. Будь у меня деньги, сейчас же уехала бы. Одна подруга даст мне свой паспорт, но она бедна и денег дать не может. Если вы не можете или не хотите помочь мне, то не говорите о моем письме ни вашей матери, ни моей. Ах, отчего моя не похожа на вашу! Я подумала о монастыре, да боюсь, что не хватит у меня храбрости. Я могу быть хорошей и честной женщиной только в обыкновенном кругу! Не желает ли дочь г-на Рица взять меня к своим детям? Или г-жа Лесперон, на вечере у которой мы познакомились с вами (где это счастливое время?), не найдет ли она мне местечка? Господи, неужели бедная девушка, хорошенькая, трудолюбивая (помните мои кошельки?), скромная, честная — да, честная, потому что я отвергла бесчестное богатство, поняли? — неужели, говорю я, такая девушка не найдет мужа, потому что у нее нет приданого? Делайте с вашей Изой что хотите. Лучшего друга у меня нет, повторяю, и вас никто так не любит, как ваша несчастная, маленькая жена.

Иза Доброновская».

«Вы мой ангел-хранитель! Плачу от радости и восторга, читая ваше письмо. Итак, вы любите меня с первой встречи? И я также! Это судьба. Поцелуйте вашу маму за меня. Завтра я выезжаю, если можно будет. Все расскажу при свидании. Посылаю вам в этом последнем письме мой локон. Если умру дорогой, это будет память обо мне. Как получите это письмо, не уходите из мастерской или оставляйте ключ в дверях. Какое счастье!.. Я вас люблю, люблю, люблю! Какое блаженство произносить эти слова.

Твоя настоящая жена Иза».

В то время она была искренна. Для моего дела выгоднее было бы обвинить ее в вечном притворстве, но я не хочу лгать и клеветать. Да, когда она ехала ко мне, она не лицемерила и ни о чем вперед не загадывала. Она так же, как и я, подчинялась роковому закону наследственности. В человеке столько противоречий! Даже в самом порочном найдешь кое-что хорошее.

На другой день после получения письма от Изы пришло на мое имя следующее послание:

«Вы украли мою дочь, милостивый государь, мою единственную дочь, из-за которой я жила и боролась столько лет! И вот награда от нее! Дай Бог вам счастья, только сомневаюсь: неблагодарная дочь будет плохой женой. Бумаги для брака все у нее, пусть выходит замуж, лучшего я ей ничего не могу предложить. Будьте покойны, обо мне больше не услышите. Исполню долг до конца. Вспомните когда-нибудь мое пророчество: судьба отомстит вам за меня.

Честь имею кланяться.

Об этом письме я, разумеется, ничего не сказал ни моей матери, ни г-ну Рицу; впрочем, и о моих намерениях насчет Изы я еще ничего не говорил. Материальное положение мое было в то время исключительно блестящее для художника моих лет; я зарабатывал чистых тридцать-сорок тысяч франков в год. Конечно, я откладывал, и мы с матерью, привыкшие к скромной жизни, тратили немного. Лишняя ноша не пугала меня. Идеал мой осуществлялся: я возьму в жены бедную, одинокую девушку и отчасти вознагражу зло, сделанное эгоистом-отцом по отношению к моей матери! Равновесие будет восстановлено... Наконец, я любил Изу! Назовите меня мечтателем, глупцом — но это так.

Я предупредил мать о приезде Изы. Она только и заботилась о моем счастье и находила бы весьма естественным, что все женщины от меня без памяти. Приданое также не составляло для нее важного вопроса. Может быть, она даже боялась блестящей партии для меня и радовалась, что небогатая невестка войдет в семью, а не отнимет у нее сына. Бедная женщина! Она не знала ни жизни, ни людей; она была проста сердцем и умом! Она радостно приняла мои сообщения и приготовила комнату для «дочки», как она называла Изу.

Дружба моя и благодарность г-ну Рицу оставались те же, но виделись мы, конечно, не так часто. Он интересовался моими работами и, к чести его надо сказать, никогда не завидовал моим успехам. А находилось много неделикатных и злорадных людей, хваливших меня в ущерб учителю.

«Ученик — его лучшее произведение! — колко писали они в рецензиях. — Не будь П. Клемансо, г-н Риц остался бы в полной неизвестности!» и т. д. Такие отзывы возмущали меня несправедливостью; я становился еще предупредительнее к учителю, спрашивал его совета, старался заявить товарищам, как много я обязан указаниям опытного скульптора, но выходило, точно я старался загладить перед ним вину в моем успехе и подчас чувствовал себя очень неловко в его присутствии. Он великодушно прощал мои хорошие намерения, но отлично понимал, что я давно иду своей дорогой, оставил его позади и в советах его не нуждаюсь.

Графиня Нидерфельдт с мужем и детьми жила с отцом; Константин служил офицером в Африке и, когда приезжал в отпуск, всегда навещал меня как старого друга.

Я счел своим долгом объявить о моих намерениях г-ну Рицу. Рассказал ему идеальный роман моей юности и предполагаемую развязку.

— Вы объявляете мне решение или просите совета? — спросил старик.

— Дело решено.

Он сердечно обнял меня.

— В таком случае примите мои поздравления и лучшие пожелания! Помните, что холостой или женатый, — вы свой человек в моей семье.

— Будете вы моим свидетелем в церкви?

— С удовольствием.

Почему не высказал он мне тогда своих опасений?

Впрочем, я бы ему не поверил!

Второго марта, в полдень, Иза вошла в мою мастерскую. Дверей я не запираю в ожидании дорогой гостьи.

Лицо ее было закрыто густой вуалью, три раза обернутой вокруг головы; она остановилась посреди комнаты и несколько мгновений не говорила и не шевелилась, точно воплощение непроницаемой судьбы. Я сидел как прикованный, впевив в нее глаза, сердце мое грозило выпрыгнуть из груди.

Тогда она развернула таинственную вуаль, сбросила шляпу и своей ликующей красотой осветила все вокруг. Возможно ли, чтобы эта богиня явилась ко мне? Чем заслужил я такое невероятное счастье?

Она хорошо знала свою силу и, видя, что я окаменел от восторга, спросила:

— Ты находишь, что я хороша?

Я схватил ее в объятия и покрыл безумными поцелуями ее волосы и руки.

— Во все время дороги я не поднимала вуали! — бормотала она восторженно. — Никто не должен был видеть меня раньше тебя! Мне казалось, что это была бы измена. Ты также красив, очень красив! Как мы будем любить друг друга! Какое счастье! А мать твоя, где же она? Надо расцеловать ее. Комната моя готова? Теперь я одна в целом свете. Оно и лучше: теперь я вся твоя. Скорее женимся, ведь так? Вот мои бумаги. Они были приготовлены для Сержа, знаешь. Но у него не хватило храбрости бороться с семьей. Тем лучше. В последнюю минуту я сама бы ему отказала. Ведь я тебя люблю! Скорее покажи мою комнату, я падаю от усталости.

Я позвал мать. Иза бросилась ей на шею, и старушка моя полюбила ее с первого взгляда. Комната ей предназначалась над моей мастерской, рядом со спальней матери.

— Когда я проснусь, то постучу к тебе в потолок! — объявила Иза. — А пока я отдыхаю, изволь работать!

Она поцеловала меня и проспала до вечера.

Как приятно мы провели два месяца! Иза освоилась, точно век жила у нас в доме. Мы оба с матерью не могли насытиться на нее.

— Теперь столько-то дней осталось! — повторяла она, намекая на свадьбу и целуя меня.

Если ей случалось проснуться ночью, она стучала туфлей в мой потолок и кричала:

— Спи спокойно, дружок мой!

Она рассказала мне всю свою историю, прибавляя, что воспоминание обо мне не покидало ее ни на минуту.

Старая графиня пустила в ход всевозможные средства, чтобы один князь заметил Изу и пленился ее красотой. Но старания ее не привели ни к чему. Вернувшись в Варшаву, старуха расставила сети несовершеннолетнему Сержу и чуть не попала под суд. Шла также речь о поступлении на сцену. В конце концов практичная мамаша, видя, что честными путями дело не выгорает, просто-напросто вздумала продать ее богатому старику и предложила эту комбинацию дочери.

— После того, что я сказала тебе, — заключила Иза, — я не скрою от тебя ничего. Помнишь, когда ты был у нас с первым визитом на набережной Эколь, ты нашел во мне сходство с товарищем, которого звали Андрэ Минати? Я еще спросила по-польски маму, можно ли рассказать тебе правду, а она ответила «нет»... Ну, так я сестра Андрэ, по отцу...

Господин Минати-отец жил в Варшаве и был другом дома графа Доброновского... Понимаешь? Хотя я и ношу фамилию графа, но я не его дочь.

— Как могла ты узнать все эти подробности? — изумился я.

— Очень просто. Мы разорились, граф умер, и мама писала несколько раз господину Минати... То есть писала я под ее диктовку. Он ни разу не ответил. В минуту гнева мама все мне рассказала. Не правда ли, странная история? В сущности, не все ли равно, кто мой отец? Потом мы узнали, что «этот господин» умер.

Судьба открывала карты... Мне следовало бы призадуматься и отступить! Но я и не подумал сделать этого...

Кроме того, я получил несколько анонимных писем насчет графини и самой Изы — но даже эти письма я показывал моей невесте...

— Это — от того-то... А это, должно быть, от такой-то, — спокойно говорила Иза. — Врагов у нас много. Бог с ними, я счастлива. Но если ты веришь им — не женись на мне. Все равно я останусь у твоей мамы. Буду служить тебе натурщицей — лишь бы быть около тебя. Хочешь взять меня в любовницы? Я на все готова.

— Не говори так! — унимал я ее, зажимая ей рот рукой. — Моя будущая жена не должна произносить таких речей!

— Что же такое? Я знаю, что женщина может жить с любимым человеком без брака, что ее за это осуждают, считают погибшей... Но что именно это значит, ей-Богу не понимаю. Мне необходимо остаться у тебя и знать, что ты меня любишь, вот и все!

Может ли влюбленный мужчина не ценить таких речей! Его громадное самолюбие не допускает мысли, что подобные же слова могут когда-нибудь относиться и не к нему!..

Помолвка моя наделала много шума. В Париже имя мое было известно, и газеты считали себя вправе заниматься моей интимной жизнью. В кружках знакомых и незнакомых толковали на все лады: по мнению одних, я увез богатую наследницу из родительского дома; другие уверяли, что опытная искательница приключений обошла меня и воспользовалась моей доверчивостью. Кто кричал, что Иза иностранная принцесса, влюбившаяся в меня до безумия и бросившая родных; а кто нашептывал, что она просто натурщица, бегавшая давно по мастерским и менявшая возлюбленных как перчатки.

На самом же деле Иза жила у меня затворницей, и никто ее не видал до свадьбы. Все время мы проводили втроем с матерью.

Когда Иза вошла в церковь в подвенечном платье, пронесся шепот восхищения. Несравненная красота ее, скромные манеры, умение держать себя — все это возбудило искренний восторг зрителей. Вы присутствовали на свадьбе, друг мой, и помните произведенное впечатление.

Я ликовал и чувствовал себя на седьмом небе! Поступил я, может быть, глупо, необдуманно — но во всяком случае честно и не отступил от моих принципов.

Медовый месяц мы провели в деревне у князя Р., бывшего в отсутствии и любезно предложившего мне свой дом.

Дом этот находится на берегу Сены, близ Мелена, у подножия леса Сент-Ассиз. В отсутствие хозяина там жили только садовник, его жена и дочь, которые приняли нас как друзей князя и заботливо услуживали нам.

Полная неизвестность — какое счастье! Роскошная обстановка, утонченный комфорт, вкусный стол, так как жена садовника прекрасно готовила — и независимость, простор, свобода!

Наступал май месяц. О, весна, весна!

Есть ли на свете такой обездоленный человек, который не радовался бы твоему появлению, не жил бы, хотя раз, одной жизнью с тобой, не упивался бы твоими щедротами? Какой ликующий переворот в природе: все, что плакало — смеется, что кричало — поет, что страдало — радуется; в голубых небесах видишь Бога и себя чувствуешь чище, лучше, добрее! Выдается ли холодный денек — не боишься запоздалого усилия зимы вернуть свои права, затопишь камин, отворишь окна и смеешься!

Кто вернет мне такую весну? Целые дни гуляли мы по лесу — все деревья мне там знакомы! — наша молодая любовь сливалась с общей гармонией природы.

Почему, когда я позже посетил эти места, не улыбались они мне по-прежнему? Я явился несчастным, разбитым, безумным — и деревья и небо угрюмо молчали в ответ на мои сетования! И во второй раз царила весна, но облака были не те, птицы другие, все кругом чуждо мне... Да, ты, природа, равнодушная и немая, не признала своего несчастного детища! Но нет, не твоя вина в том — люди, безумные люди предпочитают волнения, опасности, страсти твоим горячим материнским объятиям! Не ты виновата! Я сам изменил тебе! Будь же благословенна, наша общая мать-природа!

И ты, укромный уголок, где я был вполне счастлив! «Вполне счастлив»!.. Много ли найдется людей, которые посмеют произнести эти два слова, оглянувшись назад? Я же могу... и за то благодарю судьбу.

Выберите свободный денек, друг мой, и ступайте по дороге в Фонтенбло; в Сесоне остановитесь, поверните направо и идите с пол-лье до Каштановой аллеи. Пройдите смело через низкую изгородь — никто вам слова не скажет: владелец большой барин и радушный хозяин. Перед вами парк: идите вверх по аллее — вот дом... Тут прожил человек несколько недель и был счастлив! Жена садовника, которой поручен присмотр за домом (в нем никто больше не живет), встретит вас; разговоритесь с нею. Она скажет вам непременно: «Славная была парочка! Как они любили друг друга! Где они? Что делают?» Отвечайте, что мы по-прежнему счастливы и любим друг друга! К чему смущать добрых людей! Несчастные ведь всегда оказываются виноватыми... а сожаление я перенесу только от друзей...

Погуляйте в парке. За чудной зеленой лужайкой по дорожке спуститесь к реке. Над водой стоят, нагнувшись, сучковатые громадные ивы; их несколько штук подряд — у третьей, считая слева, отдохните.

На этом самом месте мы с «нею» отдыхали однажды утром, в чудный майский день: она удобно расположилась на низко выгнутом стволе, образующем природную кушетку, и мечтала, подложив руку под голову; я лежал на траве у ног ее и попеременно целовал эти ножки, обутые в изящные туфли. Золотистые волосы ее, небрежно откиннутые назад, падали локонами до земли и искрились под лучом солнца, пробивавшегося сквозь листву. Костюм ее состоял из голубого широкого халата, который я заказал для нее в воспоминание о моем первом визите на набережную Эколь.

Нет таких выражений и сравнений, которые описали бы ее красоту! Я не подберу верных и небанальных слов! Блеск золота, белизна снега, голубые небеса, розы, лилии, жемчуг — все это пошло и избито, а что же найти другое!

— О чем ты думаешь? — тихо спросил я ее.

— Любишь ли ты меня?

— Что за вопрос!

— Очень, очень, очень?

— Ну, да! Очень, очень!

— Пойди принеси мне простыню и парного молока в серебряном кубке с княжеским гербом.

Я исполнил ее желание. Возвратясь через десять минут, я не нашел Изу на прежнем месте.

Одежда ее висела на ветке.

Я испугался и остановился как окаменелый, не смея произнести ни звука. Вдруг послышался раскатистый смех из реки.

— Чего же ты испугался? Я купаюсь. Как хорошо в воде.

Иза плавала, ныряла, хлопала ножками, точно русалка в привычной стихии.

— Ты с ума сошла! — крикнул я. — Простудишься: вода холодная!

— Нет, я привыкла!

— Тебя кто-нибудь увидит!

— Большое несчастье! — засмеялась она. — Но не ужасайся, никто не увидит. А в случае чего, волосы — моя мантия!

— Выходи, ради Бога!

— Еще минутку!

Поплавав еще, она схватилась за низкую ветку и одним прыжком очутилась на берегу. Я хотел завернуть ее в простыню.

— Подожди, дай мне сперва молока! — сказала она и, схватив кубок, вся розовая и мокрая, откинув волосы назад, принялась пить молоко маленькими глотками, говоря:

— Вот тебе живая статуя. Неужели не красива?

Выпив молоко до последней капли, она с пренебрежением отшвырнула кубок за несколько шагов, рискуя смять его.

— Зачем так бросать? — заметил я. — Можешь испортить!

— Что же такого? Это не мое.

То была ее первая неприятная для меня фраза... Из нее можно вывести невыгодные заключения о характере. Позже я вспомнил эти слова...

— Смотри, как мне жарко! — продолжала Иза. — Простыни не надо, я высохла от собственной теплоты!

— Пожалуйста, не повторяй таких безумств! — тревожился я, накидывая на нее халат. — Долго ли простудиться... Наконец увидеть кто-нибудь может!

— Если бы ты знал, как это приятно! В следующий раз мы будем купаться вместе.

Она нежно поцеловала меня, и мы направились к дому.

Я подробно рассказал вам эту сцену, потому что она ярко выразила зачатки трех пороков, погубивших эту женщину, а вместе с нею и меня; бесстыдства, неблагодарности и чувственности. Но тогда мне это и в голову не пришло: я смотрел на проделку Изы как на шалость грациозного ребенка, и мы много раз повторили купанье вдвоем. Она игриво называла меня Дафнисом, я ее — Хлоей, и мне казалось, что такое мифологическое купанье в порядке вещей.

Здесь я должен сделать оговорку. В обвинительной речи непременно будет упомянуто, что жена служила мне натурщицей. Когда мы расстались, она сама повторяла это не раз, желая оправдать себя.

Скажут на суде, что я сам развратил наивную девушку, ставшую моей законной женой.

Увы, развращенность была в ее натуре, и скорее Иза развратила меня, чем наоборот. Вначале мы любили друг друга со всем пылом молодости; но, говоря мне: «Вот тебе живая статуя!», она в двадцатый раз возвращалась к преследовавшему ее желанию видеть свои формы увековеченными резцом. И недолго пришлось ей настаивать!

— Я тебя люблю! — говорила она с заискивающей грацией. — Я тебя ревную ко всем женщинам! Ты находишь, что Бог создал меня безукоризненно... Чего же проще? Я буду твоей моделью. Ведь я твоя вещь! Если у тебя будут другие натурщицы, я стану ревновать тебя даже к искусству! Я хочу вдохновлять тебя! Глядя со временем, когда я состарюсь, на статуи, ты припомнишь, как я была хороша. Да и кто узнает? А если и узнают, что ты обессмертил меня — что же тут? Сама судьба дала в подруги артисту необыкновенную красавицу. Наконец, это просто доставит мне удовольствие, кажется, причина достаточная!

Какой муж устоит против таких доводов!

Первая статуя, вылепленная с Изы, «Купальщица», произвела громадное впечатление на публику. Я доказал этим произведением, что природа может создать безукоризненно гармоническое целое и что искусству не приходится исправлять ни одной линии!

Необычайная красота Изы, наделавшая столько зла, принесла пользу искусству.

С этого времени жена служила мне единственной моделью. Мечта Пигмалиона осуществилась: статуи мои превращались в живую женщину, не утрачивая своего дивного облика.

Успех мой достиг высшей точки, но истинное достоинство таланта, быть может, умалилось! Я перестал стремиться к идеалу — он воплотился перед моими глазами, и я разменивался на мелочи: лепил каминные украшения, статуэтки и едва успевал исполнять все заказы.

Это нравилось Изе во всех отношениях; она принимала публику, становилась так же известна, как и сам художник, и мы делали богачами.

Мать моя занималась хозяйством, от которого Иза решительно отказалась.

Как любила она, гуляя со мной вечером, остановиться у окна магазина и взглянуть на выставленные копии с моих статуй! Ей казалось забавным слышать восторженные похвалы зрителей, и она, бывало, шепчет мне:

— Они и не подозревают, что это я!

Надо полагать, что даже в то время моей любви ей было уже недостаточно: ей хотелось поклонения и обожания толпы... Измена душевная, перешедшая, естественно, в жажду новых ощущений!

Однако любовь и нежность ее ко мне не уменьшались; вдвоем, равно как и при посторонних, она выказывала относительно меня трогательную внимательность, рабскую преданность. Одевалась она и держала себя в обществе строго; белые широкие платья, драпирующие фигуру как плащом, и скромные манеры делали ее похожей на Мадонну. Я воображал, что она дорожит исключительно моею любовью, небрежно относится к мнению посторонних, — и радовался!

Некоторые создания предназначены для зла и совершают его наивно, грациозно, почти бессознательно: змея жалит, лотос убивает, принося безумие! Такова была и жена моя...

А я продолжал радоваться моему счастью! Отсутствие ребенка не давало еще себя чувствовать; Иза опасалась возможности стать матерью, испортить свои дивные формы и красоту, боялась страданий — и я ради нее готов был остаться бездетным. Моя мать одна горячо желала иметь внука... Может быть, она надеялась, что материнство благотворно подействует на характер невестки? Разгонит надвигающиеся тучи?

Кстати замечу, что у людей, одаренных исключительным талантом или гениальными способностями, как например, у композиторов, писателей, ученых, скульпторов, живописцев, — дети являются случайностью. Природа одарила их способностью умственного творчества в ущерб физическому. Нередко случается, что родившийся ребенок возбуждает в них отвращение... Пример тому — чудовищный Жан-Жак Руссо.

Семья, дети — это обуза, путы для свободного, эгоистичного гения. Он бежит от всего, что грозит приковать его к земле, умерить полет его беспредельной фантазии. Вообще, может ли великий человек быть хорошим семьянином? Это подлежит сомнению.

Вообразите себе Моисея, Магомета, Гомера, Вергилия, Шекспира, Колумба, Галилея, Мольера, Моцарта, Ньютона, приходящих в восторг от рождения слабого, жалкого существа? Такое произведение кажется им ничтожным — им, творцам бессмертных идей!..

Как я увлекся и ушел далеко! Все это меня не касается... Гении не признают во мне равного: я бедный талантливый человек, сделавшийся рабом земной страсти! Любовь к женщине я предпочел искусству и погиб.

Я жил только для Изы, смотрел на все ее глазами. Поэтому я почти испугался, когда она гневно объявила мне о своей беременности. Прежде чем сообщить мне, она уже успела проделать все неосторожности и безумные выходки, надеясь избавиться от нежелательного материнства. Делать нечего: пришлось покориться!

Дни и ночи проводила она в слезах. Я всячески утешал ее, уверял, что красота ее не пострадает, что слезы и бессонные ночи изнуряют хуже естественного отправления организма. Я носил ее на руках, не оставлял одну ни на минуту, рисовал для нее и лепил амуров и ангелочков. Но она только и говорила о своей близкой смерти, о непобедимом страхе и ужасе перед неизбежным фактом, предстоявшим ей. Иза требовала, чтобы ее похоронили в кружевах и цветах, заставляла меня клясться, что я вторично не женюсь и ежедневно буду посещать ее могилу, над которой воздвигну ее статую во весь рост и т. д.

С матерью своей Иза редко переписывалась; однако со времени беременности стала чаще и чаще писать ей, получать ответы и, наконец, попросила меня вызвать графиню в Париж.

Сердце не камень! Я согласился и послал старухе денег на дорогу.

И вот она явилась... Бросилась мне на шею, рыдала, целовала мои руки, объясняла прошлое и пыталась оправдываться... Она уверяла, что произошло недоразумение, назвала меня «сыном» и поселилась у нас.

Целые дни проводила она с дочерью, болтая без умолку по-польски. Иза, против обыкновения, внимательно слушала. Я поинтересовался, о чем шли у них разговоры: Иза, разумеется, передала мне все так, как ей вздумалось.

Человек, который женится на иностранке, не понимая ее родного языка, должен, не теряя времени, приняться за основательное изучение его, но так, чтобы жена не подозревала этого!

Четыре года тому назад, тридцатого апреля, в полночь, Иза родила сына, ради которого я в настоящее время стараюсь оправдаться и жить.

Ребенка поручили кормилице и моей матери. Иза наотрез отказалась кормить. Заботы о восстановлении здоровья и наружной красоты поглотили ее всецело. Сына своего она видела в течение нескольких минут каждый день и никогда о нем не вспоминала.

Мать моя предложила переехать с кормилицей и ребенком на дачу. Теперь я понимаю, почему она не сходилась с графиней и, естественно, желала удалиться, чтобы дело не дошло до столкновений. Но тогда я все принимал за чистую монету и в вульгарной графине видел только мать любимой женщины, которой требовалась моя материальная помощь. Надо заметить, что графиня в Ожидании возвращения своих пресловутых имений по-прежнему бедствовала...

Я передал Изе предложение моей матери.

К удивлению, жена моя раздражительно отказалась отпустить сына и прибавила:

— Ни к чему! Мама скоро уедет.

И действительно, как только Иза поправилась, графиня объявила, что неотложные дела

требуют ее присутствия в Польше.

Не прошло месяца после родов, как Иза вполне поправилась и, кажется, еще похорошела.

Жизнь пошла своим чередом; изредка собирались к нам приятели мои, художники, — вы бывали у нас, друг мой, и, конечно помните эти собрания? Они носили семейно-дружеский характер, по крайней мере, по наружному виду, а что скрывалось под ним — одному Богу известно!

Летом я нанимал дачу в Отейле, с большим садом и сараем, превращенным в мастерскую. Иза начала входить в роль матери. Феликс забавлял ее, и можно было надеяться, что любовь к сыну явится со временем.

Материнство как будто сделало ее серьезнее и сосредоточеннее: я брал натурщиц, и она не протестовала, хотя сама не пожелала более служить мне моделью; она даже нередко выражала раскаяние, что это могло прежде забавлять ее! Такой переворот радовал меня... К матери моей она стала относиться еще нежнее... О, как хорошо она играла свою роль! Я не знал, как благодарить Провидение за посланное мне счастье!

Осенью получено было письмо от графини: она выслала мне свой долг, благодарила за гостеприимство и объявляла, что намерена окончательно поселиться в Париже. Дела ее благополучно кончились: она уже получила крупную сумму, и ей хотелось под старость жить поближе к своим «дорогим деткам». Приехав в Париж, графиня поселилась отдельно, но по соседству с нами. Иза каждый день брала кормилицу и ребенка и навещала ее. К нам графиня являлась с работой, заботилась о маленьком Феликсе и не тяготила меня. Словом, все шло прекрасно: вечера мы проводили обыкновенно в семье...

Однако мать моя вдруг загрустила: нередко глаза ее бывали красны. На мои тревожные расспросы она отговаривалась нездоровьем, старостью. Отношения мои к г-ну Рицу мало-помалу сделались отдаленнее... Он как будто охладил ко мне. Иза уверяла, что зависть не дает старику покоя: ученик превзошел учителя! И затем, прибавляла она добродушно, графиня Нидерфельдт не любит Изу за выдающуюся красоту... «Все может быть! — думал я. — Женское соперничество!» Мы ограничивались обоюдными, редкими визитами. Иза могла уверить меня в чем хотела! Константин Риц вышел в отставку и сначала бывал у меня часто, но и он внезапно начал отдаляться и совсем прекратил свои визиты. При встречах он смущенно извинялся, отговаривался недостатком времени и раз сказал:

— Ты знаешь, что я тебя люблю и уважаю. Если тебе понадобится истинный друг, рассчитывай на меня.

Я передал эти слова Изе; она загадочно улыбнулась и сказала с уверенностью:

— Мне известна причина, почему этот господин перестал бывать у нас.

Я пристал к ней с вопросами.

— Поклянись честью, — серьезно потребовала она, — что ты никому не скажешь, даже твоей матери, а главное Константину, то, что я передам тебе.

— Клянусь.

— Честью?

— Честью!

— Ну, так Константин твой назойливо ухаживал за мной, и я попросила его не бывать у нас больше. Я не хотела вмешивать тебя в глупости — женщина, уважающая себя, сумеет сама справиться и оградить свою честь. Теперь же пришлось к слову, я и говорю тебе: Константин Риц лицемер и бесчестный человек! Он никогда не пробовал клеветать на меня?

— Никогда.

— Не удивляюсь! Это еще придет. Мужчины такого сорта не прощают оскорбленного самолюбия. Помни же, никому не рассказывай.

— Будь покойна, не расскажу.

Но с этой минуты я возненавидел Константина, и большого труда мне стоило не вызвать его на дуэль.

Припоминая теперь это происшествие в связи с массой других, я называю себя дураком. В другой раз Иза мне сказала:

— Мне надо повиниться перед тобой и попросить у тебя прощения.

— Что такое?

— Бюст, который ты прислал нам в Польшу, заложен с разными другими вещами.

— Сколько раз предлагал я выкупить их!

— Мама не хотела. В последнюю поездку она не застала господина, ссудившего нас деньгами. Это жид, ростовщик. Но она оставила сумму долга друзьям, прося их выкупить вещи. Таким образом мы все вернули, но бюст я послала в подарок сестре. Ты не сердишься?

— Нисколько, друг мой.

— Все-таки сестра помогала нам в былое время. Я рада, что ты не бранишь меня!

— Да полно, душа моя, за что же бранить?

Два месяца спустя, в день своих именин, Иза говорит:

— Знаешь, я сделала выгодную аферу, подарив бюст сестре! Вот даже не предполагалато!

И, открыв роскошный футляр, она показала мне богатейшее бриллиантовое ожерелье.

— Это сестра прислала тебе?

— Кто же еще? Вот и письмо. Прелюбезное!

В письме изъяснялась благодарность за бюст и льстивые комплименты по моему адресу.

— А я подарю тебе серьги к этому ожерелью! — вмешалась графиня, присутствовавшая при разговоре.

— Но, мама, подходящие серьги будут стоить не менее 12 000 франков. Сумма твоего годового дохода!

— Ты забываешь Старковскую землю!

— Как, тебе ее возвратят?

— Непременно. Я ее продам, и все деньги тебе, дитя мое, вам обоим!

Я не хотел оставаться в долгу перед сестрой Изы и подарил мраморную статую, которую жена моя взялась переслать.

И так явились дорогие серьги.

Шесть недель спустя, возвратившись с прогулки, Иза небрежно заявляет:

— Отгадай, кого мы встретили?

— Не знаю. Знакомого мне?

— По имени и по моим рассказам. Да нет! Не догадаешься... Сержа!

— Разговаривала с ним? — тревожно осведомился я.

— Да! Как он был смущен! Жаль, что ты не мог видеть. Смех! Он ведь намеревался покончить с собой от отчаяния, а между тем жив и здоров! Я не удержалась и захохотала ему в глаза. Но он, как человек благовоспитанный, ни слова не намекнул о прошлом.

— Надеюсь, что ты не звала его к нам?

— Нет. Но ведь он для меня не существует, это все равно. Хорошо ли я сделала, что рассказала тебе об этой встрече?

— Конечно, хорошо! Поцелуй меня!

Она немедленно переменяла мотив разговора, обращая мое внимание на подробности своей прогулки с кормилицей, на массу публики на улицах.

Некоторое время спустя после этой сцены я вернулся откуда-то домой и, направляясь к дверям жениного будуара, услышал ее голос, резко говоривший:

— Ах, наплевать! Она мне надоела до черта!

Такие непривычные выражения неприятно подействовали на меня. Я вошел.

— О ком это ты говоришь? — обратился я к Изе.

— Мы толкуем о горничной! — поспешно объяснила графиня, сидевшая вдвоем с дочерью.

— Но тебе не следует, дитя мое, — с легким упреком сказал я, — выражаться так даже о прислуге! Чем ты, недовольна?

— Так, ничем особенно. Она плохо служит. Вообще я сегодня расстроена. Твоя мать больна.

— Моя мать? Она лежит?

— Нет, головной болью страдает.

— Отчего же ты не побудешь с ней?

— Она желает остаться одна.

Я поспешил к матери и застал ее в сильном волнении. Глаза ее были красны, и она едва удерживалась от слез.

— Иза сказала, что ты больна, мама.

— Ничего, голова болит.

— Ты плакала?

— Да... от невыносимой боли.

— Ты пожелала остаться одна?

— Да. Шум усиливает боль.

— Может быть, тебя кто-нибудь расстроил?

— Никто!

Но при этих словах она бросилась мне на шею и залилась слезами. Я испугался.

— Скажи мне, что случилось?

— Ничего не случилось. Я больна, нервы... Пойдем в гостиную.

Вечером она была спокойна, и целую неделю все шло хорошо.

Однако мать моя заметно худела и слабела. Я пригласил доктора.

Он нашел у нее порок сердца, болезнь, пустившую глубокие корни. Излечить ее нельзя, следует только заботиться о спокойствии больной.

Я не отходил от нее. Смерть не пугала бедную женщину! Но ей известны были опутавшие меня интриги, а открыть мне глаза она боялась. Разоблачение моего несчастья висело над моей головой, вот что убивало любящую мать и заставляло ее страдать и мучиться за сына!

С Константином она была вполне откровенна, как я после узнал, и умоляла его не покидать меня. Она ходила к нему изливать наболевшую душу, но когда недуг принудил ее слечь в постель, они редко виделись. Я терпел его посещения ради матери, но сообщение Изы поставило между нами серьезную преграду.

— Нет у тебя лучшего друга, как Константин Риц! — повторяла мне мать. — Если с тобой случится какое-нибудь несчастье, — все надо предвидеть! — поручи маленького сына

графине Нидерфельдт. Этому семейству ты всем обязан, не забывай. Берегись быть неблагодарным!

Иза ухаживала за моей матерью с усердием, но, видимо, скучала дома. По желанию самой больной, я старался развлекать жену, отпускал ее с графиней в театры и на вечера, а иногда и сам сопровождал, несмотря на страшную тревогу за угасающую жизнь матери.

Раза два или три больная имела продолжительные разговоры с Изой, с глазу на глаз. Жена моя выходила расстроенная.

— Нельзя ли избавить меня от этих сцен и нотаций? — жаловалась она мне. — Право это слишком тяжело!

Между тем больная доживала последние дни. Накануне своей смерти она сказала мне:

— Дорогой мой! Я виновата перед тобой в том, что произвела тебя на свет при невыгодных условиях! Но кроме этого, я ни в чем не упрекаю себя, так как всю жизнь отдала тебе и силилась загладить свою вину. Ты был для меня добрым и любящим сыном, и я благословляю тебя! Да хранит тебя Господь, дитя мое. На сердце моем лежит тайна, но к чему тебе знать имя отца? Прости, так же как я простила. Все мы грешны и слабы. Чем более мы прощали обидевшим нас, тем сильнее чувствуем себя в последнюю минуту жизни. Помни обо мне, но не предавайся отчаянию. У тебя жена, сын; ты молод, талантлив, известен, пользуйся жизнью и будь счастлив. Поцелуй меня и не уходи до последнего момента. Я хочу чувствовать твое присутствие, когда перестану слышать и видеть!

Навсегда остался памятен мне мотив шарманки, начавшей играть под нашим окном. Я хотел было прогнать ее, но больная не допустила этого.

— Оставь этого человека зарабатывать свой хлеб! — кротко сказала она. — Я люблю эту наивную музыку, под звуки которой я часто работала!

На следующий день, в пять часов, она скончалась. Агония была мучительная, с видениями и галлюцинациями; но тайну, ускорившую ее конец, бедная мать моя унесла с собой в могилу.

Я думал, что тяжелее горя быть не может на свете! Впоследствии, увы, я разубедился!

Иза много плакала. Вид смерти пугает нервных женщин, хотя глубокое чувство не играет тут роли. Однако я был тронут и благодарен ей.

С полгода я буквально не в состоянии был улыбнуться ни жене, ни ребенку. Внезапное воспоминание, вещь дорогой покойницы, попавшаяся мне на глаза, — и я принимался рыдать как безумный, припав к рукам Изы, старавшейся утешить меня.

С удвоенным рвением принялся я за работу, желая, в случае моей смерти, оставить сына обеспеченным. В течение целого года одни религиозные сюжеты занимали меня: я черпал вдохновение из средних веков. Этому времени принадлежит моя статуя св. Фелицитаты, которую я изобразил идущей на мучения с ребенком на руках, как указывает предание. Чертам лица мученицы я придал сходство с моей матерью.

Художник вдохновляется своим горем; он воплощает его и этим самым уменьшает его силу. Так и мое горе мало-помалу рассеивалось и превратилось в облачко на прояснившемся небе. Жизнь и молодость брали свое! Настал день, когда я поймал себя на веселом смехе, как бывало при матери!

Бедное человечество!

Иза носила траур шесть месяцев; на мои замечания, что пора ей вернуться к цветным платьям, она отвечала:

— Оставь, друг мой! Я исполняю долг относительно твоей матери!

Раз утром я получил анонимное письмо:

«Вы удивительный муж! Неужели вы не заметили, что жена ваша уходит из дома каждое утро? Проследите за ней и вы откроете курьезные вещи! Только не говорите ей ни слова, иначе ничего не узнаете.

Друг».

Пусть говорят, что хотят, об анонимных письмах, но они редко не достигают цели! Это оружие, бесчестное, недостойное, позорное — но верное!

Раз двадцать в этот день хотел я показать письмо Изе, но воздержался.

На другое утро я встал чуть свет и стал следить из окна мастерской.

Часов в восемь Иза в черном платье, закрытая густой вуалью, вышла на улицу, подозрительно оглядываясь кругом. Сердце мое страшно билось... Она села в фиакр; я бросился за ним как безумный и не выпускал его из вида. По счастью, он ехал медленно, повернул на бульвары и направился к Монмартрскому кладбищу. У ворот Иза вышла, подозвала сторожа и приказала ему нарвать цветов и идти с нею. Дойдя до могилы моей матери, она опустила на колени, положила цветы, помолилась и вернулась домой с прежними предосторожностями.

Судите о впечатлении! Я бросился к ней, показал анонимное письмо и умолял простить меня!

— На чем держится доверие любимого человека! — с горьким упреком сказала она.

С этих пор, когда Иза уходила из дома в черном платье, я сочувственно пожимал ей руку, не осведомляясь о том, куда она отправляется.

Г-н Мерфи, один из крупных ценителей искусства, не раз приглашал меня в свое имение на открытие сезона охоты. В прошлом году я принял, наконец, приглашение и решил ехать тридцатого августа, в шесть часов утра.

Ехал я очень неохотно, и, чем ближе подходило время, тем искреннее желал я, чтобы явилась какая-нибудь непредвиденная помеха. Не отговориться ли болезнью жены, ребенка или своей собственной? Но вдруг правда узнается, радушный хозяин может обидеться! Кроме того, человек суеверен: вдруг болезнь явится на самом деле!

Такие мысли осаждали меня вечером двадцать девятого августа, пока Иза заботливо укладывала мои вещи в чемодан.

— Нет, решительно я не поеду! — внезапно сказал я. — Сейчас напишу г-ну Мерфи!

— Будет невежливо! — заметила Иза.

— Тем хуже.

— Ты бы развлекся!

— Нисколько.

— Уверю тебя! Поезжай, как ты обленился! Приедешь туда, не будешь раскаиваться.

— Дай мне перо и бумаги.

— Прислуга спит. Велено разбудить тебя в пять часов.

— Позвони.

А про себя я решил: «Если прислуга спит, поеду!»

От каких пустяков зависит иногда судьба человека.

Прислуга еще не ложилась... Я отдал письмо г-ну Мерфи и вздохнул с облегчением, точно избавился от тюрьмы. Я отговорился спешной работой, которую обязался будто бы окончить к первому сентября.

— Поработаю еще часа два! — сказал я жене.

— Отлично! — весело отозвалась она. — Поработаем, и если г-н Мерфи вздумает сам нагрять, чтобы убедить тебя ехать, то увидит, что ты не солгал! Если же он будет очень настаивать, поезжай завтра! Право неловко, он столько раз приглашал тебя!

— Так и решим: если он сам явится — поеду, делать нечего.

И, успокоив свою совесть, я принялся рисовать сюжет предполагаемой статуи. Иза все время сидела со мной, внимательно следя за рисунком и нежно целуя меня при каждом удобном случае.

Г-н Мерфи не приехал уговаривать меня. В первом часу я прошел к себе в комнату; Иза ушла в свою.

Спал я плохо в эту ночь и, поднявшись на рассвете, тихонько уселся за работу.

В шесть часов утра Иза тихо отворила дверь своей спальни, выходящую в мастерскую.

Я сидел за большой группой, и она видеть меня не могла; я же отлично разглядел ее в зеркало, висевшее по левую сторону в наклонном положении. Волосы ее были распущены; в рубашке и юбке, она кралась вдоль стены, держа что-то в одной руке. Глаза ее тревожно глянули на дверь моей комнаты.

«Не ко мне ли она идет?» — пронеслось у меня в голове. Но она неслышными шагами проскользнула мимо моей двери и направилась к передней.

— Куда ты, Иза? — окликнул я ее.

Она вскрикнула от испуга, точно увидала привидение, и, вся дрожа, прислонилась к стене, чтобы не упасть. Лицо ее покрылось страшной бледностью, руку она прижала к сердцу.

Я подбежал к ней — но она уже оправилась.

— Ах, как ты испугал меня! — прошептала она, отирая со лба холодный пот. — Ты можешь убить меня такими шутками!

Принужденная улыбка, нежное пожатие руки, чтобы доказать, что она прощает «мою шутку»...

— Да куда же ты шла? — спросил я опять.

— Я шла к Нуну... (кормилица Феликса). Вдруг, сама не знаю почему, я встревожилась насчет маленького.

— А письма в руках? — продолжал я.

Она небрежно взглянула на них, как будто припоминая ничтожную подробность.

— Написала два письма... Спать не хотелось... Одно маме, которая хотела обедать со мной, если ты уедешь... ну, я пишу, чтобы не приходила. Тебе скучно с ней. А другое (она прочла адрес, как бы вспоминая, кому она писала)... — другое модистке... новой, рекомендованной мне недавно. Хотела приказать Нуну опустить их в ящик... Она ведь рано гуляет с Феликсом. Возьми, пожалуйста, оба письма, прикажи отправить их. Я до сих пор не могу оправиться от испуга! Вся дрожу... Глупые нервы! Не надо так пугать меня, дружок мой!

Она опустила голову мне на плечо и игриво прибавила:

— В наказание за мой испуг вы потрудитесь уложить меня, милостивый государь... и убаюкивать до тех пор, пока я усну! Я плохо спала и намеревалась снова лечь!

Я бросил письма на стол, взял Изу на руки и отнес в ее спальню.

— Ты хорошо сделал, что остался! — шептала она любовно. — Мне было бы скучно без тебя! Ты меня любишь?

Когда я уходил из ее комнаты, она томно сказала:

— Не забудь письма! Мы проведем сегодняшний день вдвоем... Если Нуну ушла гулять, отдай письма горничной!

Скажите по совести, друг мой, мог ли я иметь какое-либо подозрение? Не вмешайся судьба — я и до сих пор остался бы в невинном заблуждении, что эти письма ничего особенного в себе не содержат!

Как Иза знала меня! Как она была уверена в моем ослеплении, в моей идиотской доверчивости!

Я пошел в комнату Нуну с намерением поцеловать сына и отдать няньке письма.

Но оказалось, что они ушли гулять.

Я позвал горничную. Лакей сказал мне, что она только что вышла. Я выглянул в окно — но ее не было видно.

Утро было прекрасное; я наскоро оделся, взял хлыст, крикнул собаку и, захватив письма, вышел. Пройдя несколько шагов, я встретил возвращавшуюся горничную.

— Барыня велела послать вас опустить письма, — сказал я ей, — но вас не было. Передайте ей, что я сам занесу письма по адресатам, погода так хороша, что моей собаке захотелось совершить прогулку!

Я шутил! На сердце было весело и легко! Говорите после этого о предчувствиях! Привратнику графини я отдал одно письмо; потом направился на улицу d'Areco, куда адресовано второе письмо. Почему, в самом деле, не сходить мне самому к этой модистке, г-же Генри, и не выбрать для Изы какой-нибудь хорошенький подарок?

— Здесь живет г-жа Генри? — обратился я к привратнику, дойдя до означенного дома под № 12.

— Такой нет у нас! — грубо отрезал привратник.

— Как нет? № 12... Ведь это № 12?

— Да. Но никакая г-жа Генри тут не живет.

— Модистка! — настаивал я.

— И модисток у нас нет! — презрительно ответил привратник.

— Есть, есть! — раздался вдруг голос из комнатки. — Ты не знаешь... Она в деревне. Если письмо к ней, давайте.

В разговор вмешалась жена привратника и высунулась в окошко.

— Письмо ваше будет передано, не беспокойтесь, — прибавила она, вероятно, принимая меня за посланного.

Между тем от меня не ускользнуло изумленное выражение лица самого привратника, а затем движение плечами его жены, словно означавшее: «Молчи! Это наше дело!»

Внезапная мысль, как молния, пролетела в моей голове... Страшное, невероятное подозрение зародилось у меня, и я припомнил первое анонимное письмо.

Между тем женщина протянула руку за письмом, но я спрятал его в карман.

— Завтра я зайду опять.

— Напрасно. Вам ведь не приказано передать письмо в собственные руки?

— Все равно, я зайду.

— Мне что! Как хотите.

Я вышел на улицу. Лихорадка била меня, ноги похолодели, голова горела — я принужден был прислониться к стене. «Господи, не дай, чтобы «это» было!» — молился я как в бреду...

Дрожащими руками вскрыл я конверт и прочел:

«Видеться сегодня невозможно: «он» на охоту не едет. Целую твои обожаемые губки».

Без подписи.

Я снова вошел в подъезд. Женщина, эта отвратительная женщина, помогавшая обманывать меня за известную плату, спокойно вытирала чашки. О, если бы в такую минуту

иметь неограниченную власть! Какую месть изобрел бы я!

— Вы скажете мне всю правду! — крикнул я, не помня себя от бешенства.

— Какую правду? — дерзко спросила она.

— Кому адресовано это письмо?

— Читать умеете — прочтите.

— Говорите! Я вас задую!

Я терял всякое самообладание. Муж выступил на сцену.

— Мы честные люди, — заносчиво произнес он, — извольте уходить!

— Вы мерзавцы, подлецы, потворщики разврата! Если не скажете правду, я донесу на вас полицию!

Они переглянулись.

— Я знаю не больше вас! — сказала женщина. — Но готова сказать вам все, что мне известно. Квартира нанята каким-то господином.

— Имя его?

— Г-н Генри. Так он себя назвал, заплатил вперед, перевез мебель — больше нам ничего не нужно.

— Он живет тут?

— Нет, бывает иногда.

— Один? Принимает женщину у себя?

— Я почему знаю, кого он принимает? Это не мое дело.

— И давно это длится?

— Около двух лет, право не помню.

— Покажите его квартиру.

— У нас нет ключа.

— Настоящее местожительство этого господина вам неизвестно?

— Нет.

— Так письмо было к нему?

— Очевидно. Вообще я не охотница до подобных штук. У нас квартирант г-н Генри, письма на имя г-жи Генри велено передавать ему — больше я ничего не знаю. Если этого вам недостаточно, заявляйте в полицию... первая улица налево! Мы вполне правы и ничуть вас не боимся.

Это верно! Они были правы. Я очутился в глупом и смешном положении.

— Вы правы!.. — пробормотал я и вышел, шатаясь как пьяный.

Мне показалось, что я не то чтобы с ума сошел, а превратился в идиота. Я боялся, что вдруг начну петь и плясать на улице. Я думал о совершенно ничтожных, посторонних предметах, вспоминал исторические факты, тексты из учебников... Еще минута — и я упаду на тротуар, сраженный параличом. Последним усилием воли я встряхнулся и побежал домой. Только бы успеть добраться... до светопреставления!..

Словно во сне, увидел я шедшего навстречу знакомого поставщика и машинально ответил на его поклон. Собака моя, видя, что я бегу как угорелый, весело бежала рядом...

«Кто же это? Кто? — стучало у меня в голове, и имена всех «друзей» попеременно проносились в памяти. Перед домом своим я остановился: мне нечем было дышать... Разъяснение в нескольких шагах... Я погладил собаку, стараясь прийти немного в себя, и взглянул на занавески «ее» комнаты... Одна из них заметно колебалась: Иза ждала моего возвращения. Вероятно, горничная передала ей мои слова. Должно быть, первое впечатление

обмануло ее: она вышла мне навстречу в переднюю, но, взглянув мне в лицо, поняла все.

Слегка побледнев, она все-таки спросила:

— Что с тобой?

— Имя этого человека? — едва выговорил я и показал ее письмо.

— Успокойся, я все объясню тебе. Ты увидишь, что я вовсе не так виновата, как может показаться!

Сомнения не оставалось! Иза сознавалась, что письмо было написано ею и предназначалось мужчине. Вообразите, что до этой минуты я все еще на что-то надеялся! Я отдал бы жизнь, чтобы Иза гневно крикнула, сказала бы, что это гнусная клевета! Увы! Она пошла прямо на объяснения... Значит, все погибло.

Какую месть придумаю я для них обоих?

Ревность — к стыду сказать — чувство чисто физическое. Мы простим любимой женщине платоническое обожание постороннего человека, даже мысли и желания — только бы не было фактической измены. Вот почему женщины всегда с первого слова отвергают «факт»; они знают, что все остальное мы можем простить — но «факта» не простим. Если бы, несмотря на подавляющие улики, Иза могла уверить меня, что не принадлежала (о подлость) тому, чьи «обожаемые губки» целовала в письме, я простил бы ей... и, почему знать? обвинил бы отчасти самого себя!

Иза поняла это: она приготовилась лгать и отвергать «факт».

— Прежде всего имя этого господина! — крикнул я опять.

— Серж.

— Он ваш возлюбленный?

— Нет.

— Был им?

— Выслушай меня...

— Нечего слушать. Да или нет?

— Нет.

— Вы лжете, презренная женщина! За кого вы меня считаете? Какие выражения употребили вы в письме?

— Позволь мне говорить... Хочешь выслушать меня? — Я упал на стул и смотрел в ее глаза.

— Ты знаешь, что Серж был моим женихом. Я тогда мало знала тебя и не могла предполагать, что выйду за тебя замуж. Я все писала тебе откровенно. Кто принуждал меня? Мама мечтала о браке с Сержем; эта партия прельщала ее. Она старалась завлечь Сержа и поступала неосторожно. Мы оба были молоды...

— Вы были близки с ним до брака со мной?

— Ты знаешь, что нет. Можешь подозревать теперь, но не клевети на прошлое. Сознаюсь, что я вела себя необдуманно... но мне не в чем упрекнуть себя серьезно!

«Необдуманно!» — только и всего. Какие растяжимые слова употребляют женщины, когда хотят вывернуться, несмотря на очевидность!

— Оставим прошлое, — сказал я, — говорите о настоящем. — Она переменяла тактику.

— Ничего не скажу. Ты все равно не поверишь.

— Отлично. Я убью вашего друга, да было бы вам известно.

— Что мне за дело? Разве я люблю этого человека, которого ты называешь моим другом? Убей его, если желаешь. Совесть замучает тебя.

Последний довод был утонченным ударом.

— Почему же вы с ним на «ты»? Зачем целуете его «обожаемые губки»?

— У нас это ничего не значит! Все целуются в губки!

Я слышал это собственными ушами, друг мой! Сам слышал, как Иза произнесла эти фразы!!

Упадка сил во мне как не бывало: внутри меня бушевал ураган.

Вдруг мне пришли в голову слова покойной матери: «Если тебе понадобится друг, вспомни Константина Рица!»

Иза не знала, чему приписать мое грозное молчание, и огляделась кругом, как бы намереваясь спастись бегством.

Я позвонил.

— Что вы хотите делать? — спросила она не без тревоги.

Вошел слуга.

— Идите к молодому г-ну Рицу и просите его немедленно явиться сюда.

Когда мы остались одни, Иза раздражительно сказала:

— Не вижу, какое дело до всего этого Константину?

— Увидите.

— Я не хочу оставаться с вами двумя. Вы меня убьете.

Она направилась к двери.

Я схватил ее за руку и злобно проговорил:

— Если вы попытаете бежать или звать на помощь, я растопчу вас ногами. Улики неопровержимые — я буду прав. Сядьте и ждите.

Я толкнул ее на диван, где она и осталась сидеть, полумертвая от страха.

— Я хочу видеть маму! — прошептала она.

— Молите Бога, чтобы она не явилась сюда!

— Вы подняли руку на беззащитную женщину!.. — шептала она. — Вы подлец.

Натура ее сказывалась.

Я ничего не ответил.

Странное дело! Все мое хладнокровие внезапно вернулось, и прежние страстные порывы уступили место презрению. В последующие минуты я объективно относился к разыгравшейся сцене, точно судил постороннюю женщину, а не собственную жену!

Дошло до того, что я принялся за работу и чертил начатые эскизы...

Какой-то голос громко говорил мне: «Убей ее, убей немедленно!» — или спрашивал: «Что ты сделаешь с «тем» человеком?» И я приискивал для него пытки.

— Вы непременно желаете скандала? — заговорила снова Иза, на этот раз значительно спокойнее.

Я молчал.

— Есть еще время предотвратить несчастье! — продолжала она. — Я писала Сержу... Я нарочно назвала его, чтобы сбить вас с толку. Пошлите за мамой... отпустите меня к ней... и я клянусь вам, что назову имя моего возлюбленного!

«Возлюбленного!» Слово было произнесено! Неужели моя жена произнесла его? И в моем присутствии? Я не сказал ни слова, но сердце мое замерло от боли.

— Ну, да! У меня есть друг сердца! — не унималась Иза. — И я его люблю... всегда любила! Вы и не подозреваете, кто это!

«Убей же ее, убей!» — настойчиво раздавался голос внутри меня.

Дверь отворилась, вошел Константин. Иза побледнела еще больше.

— Никого не принимать! — приказал я слуге, и, когда он удалился, я запер дверь мастерской и положил ключ к себе в карман.

— Что случилось? — спросил Константин.

— У этой особы есть друг сердца. Знал ты об этом?

Константин молчал. Я подал ему письмо Изы.

— Да, знал! — ответил он, пробежав письмо.

— И знал его имя?

— Да.

— Поэтому перестал бывать у нас?

Он кивнул головой.

— Прости, я подозревал тебя! — сказал я. — Эта особа уверяла, что ты ухаживал за ней.

— Она ошибалась.

— Почему не предупредил меня?

— Твоя мать умоляла меня не говорить тебе... Мы оберегали твое призрачное счастье.

Жене же твоей я сказал все, что предписывал мне долг.

— Посоветуй, что мне делать?

— Разойтись с ней немедленно.

— А с тем господином?

— Это предоставь мне.

— Как тебе?

— Мне. Потом узнаешь.

Иза безмолвно рассматривала свои ногти, точно дело шло не о ней.

— В таком случае моего присутствия не требуется? — спросила она, вставая с места. —

Я могу идти?

— Когда угодно.

Она вошла в свою комнату и заперлась.

Константин пожал мне руку, и мы обнялись.

— Не отпускай ее до моего возвращения, — сказал он. — Я скоро вернусь... Иду к Сержу. Крепись, друг мой, и не прощай. Ты имеешь дело не со слабой женщиной, а с чудовищем! Помни это.

Я остался один. Происшествия, страшные, неожиданные, упали мне как снег на голову и так быстро следовали одно за другим, что я был ошеломлен. Однако сознавал, что надо подчиниться советам Константина.

Какое неоценимое сокровище в такие минуты истинный друг! Своим самообладанием он умеет придать бодрости, приказывает вам не унывать — и вы слушаетесь. Я готов был на борьбу, решил быть выше страданий и ударов судьбы, понял восторги мучеников и презрение к палачу! Расстанусь с Изой, стану жить для сына и искусства — все это показалось мне просто и легко.

Константин снова вернулся.

— Ничего нового не произошло? — спросил он.

— Ничего.

Должно быть, Иза из окна видела его возвращение, потому что минуту спустя появилась из своей комнаты, одетая для прогулки, в шляпе и накидке и с бархатным мешочком в руках, вероятно, набитым дорогими безделушками. Сколько раз одевал я ее сам, когда она

собиралась «куда-нибудь», советовал надеть то или это; выбирал, что ей более к лицу! О, ужас! Как я заботился, чтобы «другие» нашли ее интересной!!

— Вечером я пришлю за своими вещами! — объявила она и, спокойно дойдя до двери, отворила и затворила ее за собой, точно ничего особенного не произошло.

Да нет! Это невозможно! Я сплю... я вижу дурной сон! Моя жена, моя любовь, имя, честь — ушли таким образом? Она находит естественным преспокойно покинуть «наш» дом, ребенка, меня? Захлопнуть дверь и считать поконченными клятвы, забытыми дом, и прошлое, и будущее нашей любви? Все свои слова берет назад, как ни в чем не бывало! Считает себя свободной!

— Куда она? — спросил я, как потерянный.

— Опомнись! — твердо произнес Константин. — Дело еще не получило огласки. Если чувствуешь себя не в силах обойтись без этой женщины, скажи прямо — я верну ее, и все, что произошло, останется в тайне. Не ты будешь первым мужчиной, поставившим любовь выше своего достоинства... Только не упрекай, не мсти, не вспоминай и не раскаивайся! Но прежде выслушай меня и узнай всю правду. У жены твоей, по моему счету, было уже пять интриг... Это я знаю достоверно, а может быть, их гораздо больше.

— Что ты говоришь?

— Говорю, что она порочная женщина. Ничего подобного я не встречал и, с тех пор как познакомился с нею, презираю женщин еще сильнее прежнего.

Я схватился за голову.

— Пять! — повторял я. — Пять! Что ты говоришь! Кто же эти герои? Назови их!

— Не драться ли хочешь со всеми ними! Смешон ты был бы, друг мой! Всем окружающим известно поведение твоей жены, один ты ничего не подозревал. Сто раз порывался я открыть тебе глаза. Но такая правда не идет с языка, разве обстоятельства вынудят. Здесь, в этой именно комнате, я грозил ей, имея в руках улики. Дружба к тебе предписывала мне это. Знаешь, что она мне ответила с подавляющим цинизмом: «Он и увидит, так не поверит!» — «Но зачем же вы обманываете его? — говорю я. — Он молод, красив, знаменит, богат, обожает вас!» — «Ведь не с вами я его обманула? — возражает она. — Так прошу вас оставить меня в покое! Как хочу, так и живу. Или идите, донесите, может быть, окажете мне услугу».

— И давно это началось?

— С приезда Сержа! Он был первым по счету и пережил всех остальных, потому что связь с ним — не любовь, не каприз, а выгодная афера!

— Продолжай. Добивай меня!

— Да, dokonчу, потому что, будь я на твоём месте, я желал бы «все» знать, а не играть глупой роли. Мужчина не должен быть игрушкой легкомысленной женщины; он обязан твердо, без слез, сказать: «Я прогнал жену, потому что она преступница». Теща твоя, графиня Доброновская, была действительно замужем за каким-то благородным дураком, которого она разорила, надувала на каждом шагу и упрятала под конец в сумасшедший дом. Какой-то генерал занял его место, но недолго спустя отколотил милейшую графиню, заметив ее склонность к кучеру. Вот какова твоя теща! О, когда женщины начнут падать, им нет удержу: они валяются в грязи. Зять графини, муж ее старшей дочери, действительно порядочный человек, порвавший всякие отношения с мамашей своей жены. Он предлагал взять к себе Изу, желая спасти ее и выдать замуж. Графиня отказалась. Она рассчитывала на красоту дочери г-на Минати — ты ведь знаешь? — для поправления своих дел. В Петербурге старухе ничего не удалось, они вернулись в Варшаву, страшно бедствовали, пока не уловили

в сети несовершеннолетнего Сержа. Молодой человек этот не уступит тебе в пылкости и наивности и влюбился в Изу без памяти. К счастью, влиятельные родители его приняли крутые меры — поневоле скажешь: да здравствует неограниченная власть! Была ли дочь сообщницей матери или жертвой? Не знаю, но склонен думать первое. Что произошло между молодыми людьми и в каких они были отношениях — тоже мне неизвестно. Тебя ведь обмануть нехитро, не прогневайся, дружище. Молодой человек отдал все свои деньги, какими только мог располагать, продал лошадей, экипажи, наделал долгов. Вот тут семья силой увезла его, и щедроты прекратились. Тогда принялись за тебя. Любила ли тебя Иза хоть первое время? Действительно ли надоели ей бедствия, приключения, интриги, и она бежала от матери? Возможно, что это так — видишь, я беспристрастен. Верю или скорее допускаю ее искренность. Женщины на все способны, даже на добрые порывы. Твоя обязанность была взять Изу в руки, поставить себя властелином, перевоспитать ее. Может быть, дурные инстинкты были бы заглушены... Впрочем, сомнительно! Наследственность — факт неопровержимый. Особенно при мамаше трудненько справиться! Войдя в совершеннолетний возраст, Серж приехал в Варшаву, узнал о свадьбе своей экс-невесты, накинулся с упреками на графиню, и она задумала наверстать потерянное — прелюбодеянием! Как упустить такой случай! И вот началась с дочерью деятельная переписка, по-польски, конечно. Под носом у тебя завязалась интрига, которую ты обнаружил только сегодня. Твоей матери все было известно, она терзалась и страдала и не раз поверяла мне свое безысходное горе. Свидания начались у графини, а потом Серж нанял и меблировал квартиру на улице d'Agесо. Возврат конфискованных имений — басня; бриллианты от сестры и серьги от графини — ложь; за все платил Серж. Анонимное письмо — изобретение графини, для твоего вящего ослепления и доверия! Могила твоей матери сослужила им службу! Все эти подробности знаю я от Сержа; я принудил его к откровенности сегодня; некоторые же детали доставлены мне моим зятем, слышавшим их от товарищей в русском посольстве. Вот тебе объяснение, почему отец мой и сестра отделились от вас. Бедный ты, наивный человек! Если бы ты не был так воздержан и скромн холостяком, то приобрел бы побольше опытности. Узнал бы, что когда решаются на первую глупость — жениться, то не следует делать второй, т. е. выбирать в жены исключительную красавицу! Твоя жена богиня красоты! Такие создания не бывают хорошими семьянинками. Их надо воспевать, обожать, писать с них, лепить, но жениться на них — сохрани Боже! Они созданы для наслаждения, для вдохновения артистов и кроме своего каприза не признают иного закона. Брак для них — трамплин, с него они храбро бросаются в омут жизни. Достоинств мужа они даже не разбирают, лишь бы положение его было видное. Любовника выбирают не за красоту, не за ум, не за молодость. Им только бы блистать и царствовать, а откуда идет фимиами — им решительно все равно. За неимением другого, довольствуются обожанием лакея или каменщика. Басня о Диане и пастухе очень глубокомысленна. Для красавицы — красивый и знаменитый муж не подданный, а равный; она всегда предпочтет какого-нибудь ничтожного дурака, который падет перед ней ниц, будет считать себя ее рабом, вещью, преданным псом. Больше ей ничего не нужно. Для мужа она красивейшая женщина, для того избранника — богиня, о которой он и мечтать не смел! Надоеет ей этот избранник — она бросит его и возьмет другого, не заботясь, что он может умереть от отчаяния! Тем лучше: она наблюдала, как приходят в экстаз от любви, посмотрит, как от нее умирают. Любопытно! Такова твоя жена, бедный друг мой. Не все допускали мысль, что тебе неизвестно ее поведение! Ты спрашиваешь имена соперников — к чему? Вы все — ее

жертвы. Теперь я скажу тебе, что у нее на уме: она решила завладеть миллионером Сержем и совершенно утешена. Мечтает о славе Аспазии, Ниноны и Марион Делорм. Но тут-то она и обожжется: я выискал ей наказание. Вместо того, чтобы вызвать Сержа на дуэль, я рассказал ему подробно, какова женщина Иза, и потребовал от него клятву, что он не увидится больше с ней! Он поклялся и сдержит слово — это джентльмен, не подозревавший семейной обстановки Изы. Таким образом твоя дальновидная женушка получит неожиданный нос и вынуждена будет жить с мамашей. Бриллиантов им ненадолго хватит, и прежняя бедность снова грозит им!

— А я?

— Ты поручишь сына моей сестре, которая воспитает его вместе со своими, а сам уедешь во Флоренцию или в Рим и предашься возвышенному искусству, как и подобает талантливому артисту, когда его посетит сильное горе! Я поеду с тобой, чтобы ты не застрелился потихоньку на первых порах. А потом... последуешь моему примеру: будешь любить всех женщин понемножку и не привязываться ни к одной. Когда вполне выздоровеешь, вернешься к нам, в нашу семью, где тебя искренно любят. Так ведь, решено?

— Пожалуй.

— Ночуешь сегодня у меня. Завтра мы уедем и будем стараться не думать о прошлом. Давай укладываться.

Какой-то мудрец сказал, что у нас всегда найдется достаточно силы, чтобы перенести страдания ближнего. Благодаря этой силе, а также, вероятно, тайному удовольствию явиться утешителем, Константин Риц с таким красноречивым юмором описывал мне Изу и разбирал ее по косточкам. Все это напоминало твердую руку опытного врача, прикладывающего раскаленное железо к свежей ране. Операция бесспорно полезная, но предоставляю вам судить, каково пациенту в эти минуты. Одно можно сказать: чего человек не вынесет!

Я рассчитал и отпустил прислугу, объявив, что уезжаю путешествовать; Феликса, с его вещами и игрушками, отправил к графине Нидерфельдт.

Константин, с сигарой во рту, разбирал бумаги и письма в моих столах и комодах, поминутно спрашивая: «Это сжечь? А это спрятать?»

Вдруг дрогнул звонок. Я встрепенулся: не Иза ли вернулась? Оказалось, пришел посыльный за ее вещами.

Когда выносили последний сундук с ее вещами, я проводил его взглядом, как будто уносили дорогого покойника!

В восемь часов Константин сказал:

— Ну, нам пора отправляться. Здесь больше нечего делать.

Я машинально пошел за ним. Ноги у меня подкашивались, и я должен был крепко держаться за перила лестницы, чтобы не упасть.

Константин повел меня в ресторан, и я послушно ел и пил, а затем мы пошли к нему пешком. Люди, двигавшиеся по улицам, казались мне теньями, жившими какой-то особенной жизнью, и я сам — другим существом, чем был несколько часов тому назад. Константин уступил мне свою кровать, сам же велел постлать себе на диване и принялся укладывать свои вещи.

Я, разумеется, не лег, а ходил по комнате из угла в угол, не говоря ни слова.

— Не пройти ли нам к отцу? — предложил мне приятель.

— Нет, лучше завтра.

Он сел за письменный стол, а я прилег на диван. Уличный шум мало-помалу стихал; маятник стенных часов отчетливо и монотонно тикал, отсчитывал секунды и минуты моей жизни, с которой я теперь не знал что делать. Трудно сказать, что я чувствовал; я точно находился под влиянием наркоза: материя и привычка боролись с душевным состоянием и подавляли его. «Отдохнуть прежде всего! — проносилось у меня в голове. — Там видно будет».

Незаметно я впал в забытие, закрыл глаза, перестал думать. Очнулся я в пять часов утра, и в первую минуту сознание действительности отсутствовало... Вдруг оно встало в углу комнаты, прояснилось, выросло и, подойдя ко мне, село у моего изголовья!.. Я все вспомнил и мигом очутился на ногах. Все ужасные вчерашние происшествия закружились вокруг меня в беспорядочной, адской пляске, и все философские рассуждения Константина рассыпались в прах.

«Как! — вопил какой-то голос внутри меня. — Есть человек, похитивший твою честь, твоё счастье, разбивший твою будущность, и ты оставляешь его в покое, довольствуешься словом, которое он, быть может, и не сдержит? Поведение твоё пахнет трусостью! Константину хорошо советовать, но сам он не так бы поступил на твоём месте! Честь

ближнего, даже друга, все не то, что своя собственная! Если бы ты соблазнил, например, его сестру, неужели он ограничился бы твоим обещанием, что ты, мол, больше не будешь? Нет! Он жаждал бы крови, прежде всего. Что должен думать о тебе Серж? Дешево он отделался!»

— Господи! Да я вчера был, видно, без ума! — прошептал я и кинулся на улицу Пантьевр, зная от Константина, где живет мой соперник.

Было не более восьми часов, когда я позвонил к нему. Камердинер отказался было будить барина, но я уверил его, что дело первой важности, из-за которого я будто нарочно приехал из-за границы. Тогда он провел меня в будуар, а сам отправился к барину.

Комната, в которой я очутился, обита была голубым атласом, наполнена цветами и безделушками. Между окнами стояла статуя, и — о ужас! — то был бюст Изы моей работы, который, по ее уверению, послан был сестре! Не помня себя, я схватил каминные щипцы и несколькими ударами превратил изваяние в осколки.

На таком занятии застал меня хозяин. Вероятно, он меня тотчас же узнал, потому что удивления никакого не выразил, а проговорил тоном человека, терпение которого готово истощиться:

— Условия с вашим другом не удовлетворили вас, милостивый государь?

— Да, я переменял мнение.

— Это не причина, чтобы ломать чужие вещи! — брезгливо сказал он.

— Как чужие? Бюст этот...

— Бюст этот моя собственность, я заплатил за него, сколько следовало, и вы у меня в квартире. Потрудитесь объяснить цель вашего визита и удалиться.

— Я хочу убить вас! — прохрипел я.

— Так бы и сказали, не приходя в неистовство.

— Чтобы разом покончить, будьте в одиннадцать часов с секундантами в С.-Жерменском лесу, у решетки террасы. Выбирайте оружие.

Он спокойно позвонил и сказал слуге:

— Подберите эти осколки и выбросьте их.

Затем холодно поклонился мне и вышел.

Я сыграл дурака, но по крайней мере облегчил себя. Теперь я знал, чем наполнить этот день. Константин тревожился, недоумевая, куда я исчез. Я рассказал ему все.

— Безумно, но я, пожалуй, поступил бы так же! — сознался мой мудрый утешитель. — Ступай пожать руку отцу и поцеловать Феликса; а я пока отыщу другого секунданта.

В назначенный час мы встретились с Сержем и дрались на шпагах. Он владел этим оружием лучше меня, но, очевидно, решил меня щадить. Заметив это, я пришел в ярость, бросился на него, как иступленный, и проткнул ему правый бок.

— Удар не совсем правильный! — заметил он, падая. — Но все-таки будем считать его. Если я умру, знайте, что я жалею о причиненном вам горе. Если же останусь в живых, то сдержу данное слово и не увижу более особу, из-за которой дрались. Она уже знает о моем бесповоротном решении.

Проговорив это, Серж лишился чувств, и его отнесли в замок Валь, где жили его знакомые, а мы вернулись в Париж.

— Ну, дело сделано! — сказал Константин. — Успокоило ли это тебя немножко?

— Да.

— Только это и требуется. Будем надеяться, что Серж не убит. Он в высшей степени порядочный человек. Вы оба жертвы, и упрекать друг друга вам не в чем. Сюрприз, преподнесенный твоей супруге, очень радует меня: оба бросили ее сразу! Поделом.

В квартире Константина меня ждал посыльный с письмом:

«Ни к чему долее обманывать вас: Феликс не ваш сын. Отдайте мне его, и вы не услышите никогда более ни о нем, ни о его матери.»

Изабелла Клемансо,

рожденная Доброновская».

— Врет! — крикнул Константин, прочитав письмо. — Не верь: просто хочет отомстить тебе, отравить твое чувство к ребенку. Как она типична, мелочна и зла! «Рожденная Доброновская»!! Ха, ха, ха, прелесть! — И обратясь к посыльному, он как ни в чем не бывало сказал:

— Хорошо, скажите этой барыне, что мальчика мы оставим у себя, чтобы она не беспокоилась. Вот вам пять франков за комиссию. Еще передайте ей, что мы уезжаем за границу.

.....

Да, дуэль облегчила меня. Жажда крови в таких случаях непобедима. Я должен был наброситься на кого-нибудь, как дикий зверь, не на Сержа, так на другого, все равно, и затем несколько успокоиться. На соперника моего я ничуть не сердился, а после дуэли стал даже уважать его.

После этой встречи мне показалось, что Иза радикально изгнана из моей жизни, что я способен довольствоваться трудом, славой, дружбой порядочных людей, заботой о маленьком Феликсе и т. д. Стоит ли даже уезжать из Парижа?

— К чему увозить от вас Константина? — говорил я убежденно старику Рицу. — Я

тверд и силен, уверяю вас. Видел дурной сон и проснулся! Ничего особенного не случилось: буду работать, как прежде, снова войду в состав вашей семьи!

Старик с добрым участием выслушал меня, как доктор, не желающий разубеждать больного, воображающего себя здоровым.

— Вы правы, друг мой! — сказал он ласково. — Только перемена воздуха, по моему мнению, все-таки не повредит. После падения необходимо двигаться, чтобы убедиться, нет ли где полома в членах. Поезжайте-ка в Рим, вы там не были, это будет полезно. Я стар, утомлен, а то сам поехал бы с вами! С Константином вам веселее. Поезжайте, не откладывая!

Мы проехали Милан, Венецию, Ферраре, Болонью, Пизу, Флоренцию.

Константин не мог мною нахвалиться: ясность духа и спокойствие, с которыми я разговаривал, поражали и радовали его. Он поверил в мое полное выздоровление и на расспросы мои о прошлом, не стесняясь, рассказывал мне все, что знал о проделках Изы.

Я узнал, что из пяти избранников только Серж ухаживал за ней и любил ее; остальных она по собственному почину осчастливила, так как они бы и мечтать не смели о такой удаче! Младшему из них было сорок шесть лет, старшему шестьдесят!.. Но все они были «известностями», чтобы не сказать знаменитостями. Не раз доставляла она себе курьезное развлечение собрать «всех нас» за обедом... Понимаете, какой интересный спектакль? А я, сияющий, счастливый, доверчивый, с триумфом председательствую!.. Одного Сержа не доставало!

Вот вам и имена членов этой компании: во-первых, лорд Афенбюри, известный своим красноречием в парламенте; Гантло — ученый (он горбат, как вам известно), Гатерман — композитор; Тардин — живописец, Жан Дакс — адвокат. По образчику каждой специальности.

Не думайте, что я шучу, друг мой! Неуместны были бы шутки, когда речь идет о женщине, которую я безумно любил, о моей чести, жизни, обо всем, что было мне дорого и свято! Я передаю факт, не подлежащий сомнению.

Вначале все эти старички льстили себя надеждой на исключительную привилегию. Но случайно Гантло увидел, как Иза входила к Тардину. В отчаянии он поведал свои терзания Даксу, не подозревая, какого заинтересованного наперсника выбрал! Дакс — философ, и решил сам проследить за возлюбленной и вскоре убедился, что Гатерман также пользуется милостями богини.

Комизма много, если бы не было столько трагизма для меня! Гатерман первый рассказал все приключения Константину Рицу, наивно осведомляясь, не принадлежит ли и он к «товариществу». Но приятель мой умолял его молчать ради меня и не разглашать поведения Изы. Молчали, однако, только при мне...

В Рим мы приехали в середине октября. Для тех, кто не знает вечного города, описание бесполезно и ничего не объясняет. К тому же тучи сгущаются, поднимается ветер, предвестник урагана, пыль клубится, слышатся раскаты грома — гроза близка! Я должен прибавить шагу и не заглядываться по сторонам, не рассматривать почву, которая колеблется у меня под ногами!

Первые дни я поглощен был созерцанием великих памятников искусства; во мне проснулся художник, и я весь отдался артистическому наслаждению. Личное горе показалось мне мелочным и ничтожным среди бессмертного великолепия, которым полон Рим.

Я написал г-ну Рицу горячую благодарность за совет посетить вечный город и выражал намерение приняться за дело!

Кружок итальянских художников знал меня понаслышке и принял с распростертыми объятиями. Все это была пылкая молодёжь, видевшая во мне «учителя», дорожившая моим мнением, одобрением, советом. Удовлетворенное самолюбие действовало на меня, как целительный бальзам, и я действительно решил работать, сделать что-нибудь великое и

бессмертное, забыть все, кроме искусства!

И вот я устроил мастерскую, приобрел все необходимое, заготовил материал и... стал ждать вдохновения.

Друг мой, видя меня в таком хорошем расположении, решился уехать обратно в Париж, куда его призывали дела и привычка. Я проводил его до Чивита-Веккии, распростился и вернулся в свою мастерскую, горя нетерпением приступить к делу...

Увы, вдохновение не рабыня, являющаяся по первому зову! Будь я доктор или адвокат — нет сомнения, что в привычном труде своем я нашел бы отраду и утешение. Там работа, так сказать, механическая, ремесло. Занятие Насильственно стучится к вам в дверь, требуя вашего внимания, опыта, умения, деятельности, поглощая ваши досуги, не допуская вас задумываться. Артист — совсем не то. Прежде всего ему для творчества необходимо сосредоточиться и не развлекаться присутствием других людей. А что могло навеять на меня одиночество, как не воспоминание о пережитом?

Я целые дни просиживал неподвижно перед приготовленным материалом, опустив бессильно руки и глядя на одну точку. Ни вдохновения, ни мысли — все, все унесла с собою презренная женщина! Конец моему таланту, творчеству; наступило полное бессилие и отупение!

Тут-то я познакомился с одним чувством, до той поры мне не известным. Упомяну и о нем, так как пишу исповедь.

Один из молодых художников показал мне свое произведение, за которое получил премию: «Вакханка» — положившая начало славе молодого скульптора. Вещь безукоризненная!

Знаете, какое чувство возбудила она во мне в первую минуту? Зависть. Нестерпимую зависть и даже ненависть к автору! Мне страстно захотелось схватить молоток и раздробить статую на мелкие куски! Снова «неизвестный» зверь проснулся во мне, внушая чудовищные поступки! По счастью, я удержался и, протянув руку художнику, ожидавшему моего приговора, сказал:

— Это чудная вещь! Даже в Риме она всегда обратит на себя внимание!

Мог ли я ощущать такую гнусную зависть в прежнее время? Разумеется, нет! Я бы искренно наслаждался созерцанием дивной статуи, расцеловал бы автора и от души предсказал бы ему славу! Но тогда я и сам чувствовал в себе силу таланта... А теперь пропал талант, и закопошилась во мне низкая зависть...

«Вакханка» долго не давала мне спать спокойно: я начинал десять сюжетов, но ни один не удавался: ничего не выходило. Я пришел в совершенное уныние.

Константин часто писал мне и с обычной откровенностью сообщал все, что слышал об Изе.

Когда она узнала о моем отъезде, то страшно рассердилась и затеяла процесс, требуя возвращения сына от г-на Рица, но суд, разобрав дело, отказал ей, ограничившись позволением навещать Феликса еженедельно. Сначала она аккуратно пользовалась этим позволением, затем приходила все реже и, наконец, совсем перестала появляться у графини Нидерфельдт.

Жила она с матерью; одевалась и вела себя чрезвычайно скромно, но обе они изошрялись распускать про меня позорные слухи. Оказывается, я был во всем виноват — развращал юную жену, заставлял ее «насильно» служить мне натурщицей, даже хотел, чтобы помощники помогали мне лепить с нее, но она решительно воспротивилась... Затем, я растратил «ее приданое» и, в конце концов, завел содержанку и уехал с ней в Италию, отняв у жены сына и свалив вину на нее же.

Константин писал мне, что Серж сдержал слово и даже уехал из Парижа. Рана его вполне зажила. Носятся слухи, что он в Петербурге и скоро женится.

«Новость! — писал мне приятель в одном письме. — Жена твоя и теща пропали, исчезли subito. Скатертью дорога! Могут благополучно не возвращаться. Зато ты теперь можешь вернуться во Францию, не опасаясь неприятной встречи! Не век же тебе жить в вечном городе! Куда они удрали — неизвестно: кто говорит в Англию, кто в Голландию, в Германию или в Швецию. Только не к Сержу: он недавно писал мне и объявлял о своей женитьбе».

При этом известии знаете, что мне пришло в голову? Иза едет ко мне... раскаялась, не может жить без меня и решилась вымолить у меня прощение! И стыдно сознаться, друг мой, я ездил в Чивита-Веккию несколько дней подряд, встречал все пароходы из-за границы; затем бросился обратно в Рим, мечтая, что она явится сухим путем... Словом, совсем обезумел! О прощении ни к чему упоминать: раскайся она, действительно приехала бы — и я бы простил!

Она не приехала.

Этот последний порыв совершенно истощил мои силы; я впал в уныние и апатию, мысль о самоубийстве стала являться мне все чаще и чаще. Жизнь невыносимая мука, смерть — избавление. Чего еще ждать? К чему медлить?

Я заперся у себя в мастерской под предлогом работ, никого не принимал и, в то время как молодые собратья мои, художники, готовились восторженно приветствовать появление какой-нибудь великолепной вещи из-под моего резца, — я в четырех стенах безумствовал, как пойманный зверь в клетке, не находя ни выхода, ни силы воли, чтобы разом покончить с собой. Самые дикие желания овладевали мной порой: мне хотелось учинить заговор, поджечь что-нибудь, зарезать кого попало!

Я был близок к сумасшествию.

И вот однажды я откровенно излил душу в письме к моему благодетелю и учителю, г-ну Рицу-отцу. То был отчаянный вопль погибающего человека, и в ответ я получил твердое и

ласковое слово участия. Он указывал мне на долг относительно сына, умолял не следовать примеру моего собственного отца, которого я не раз в былое время упрекал и осуждал за эгоизм. С отеческой строгостью укорял он меня в недостатке веры, в преступной бесхарактерности, говоря, что у всякого свой крест, что все человечество страдает, и я не смею воображать, что мои страдания исключительно невыносимы.

«Жалок тот человек, для которого любовь женщины — все! — заканчивал старик свое письмо. — Я был о вас лучшего мнения, считал вас выше обыкновенных пошляков. Как! Презренная женщина украла вашу волю, ваш гений, способность к труду, ум? Надеюсь, что вы на себя клеветеете, дитя мое. Удержать вас от самоубийства я, конечно, не могу. Если все, что я сказал вам, не произведет на вас впечатления — умирайте. О сыне вашем я позабочусь, но за уважение его к вашей памяти не отвечаю. Однако, прежде чем вы решитесь на невероятный поступок — убить себя из-за измены гадкой женщины, — я потребую от вас услугу, если вы считаете, что я заслужил это. Снимите для меня копию с «Моисея» Микеланджело. Это мечта моей жизни — иметь копию с великолепного произведения моего любимого скульптора! Тут вам не потребуется вдохновения, которого, вы уверяете, что лишились. Немножко терпения и доброй воли — и вы осчастливите меня! Целую вас и надеюсь, что просьба моя будет исполнена!»

С каким трогательным лукавством добрый учитель заставлял меня отложить мысль о смерти! Сколько горячего участия и любви слышалось в его отеческих упреках и воззвании к моему долгу!

Я ответил немедленно:

«Люблю вас, как отца! «Моисей» будет у вас; принимаюсь за него, не откладывая».

Я горячо принялся за работу и, не отрываясь, трудился чисто механически в течение двух недель. Мысли мои начали проясняться: я приходил в себя. Неужели я спасен? Неужели я все забуду и сделаюсь нормальным человеком? Если это чудо совершится, как благодарить мне Бога?!

В таком духе написал я г-ну Рицу, принося ему горячую благодарность за мое исцеление и радуясь, что живу и интересуюсь моей работой, которая быстро приближается к концу.

Так прошла еще неделя. Я ликовал...

Раз утром получаю письмо:

«Опять новость, дружище: жена твоя вернулась, вероятно, с золотых приисков из Калифорнии! Купила роскошный отель, со всей обстановкой и редкостями, помнишь баснословный дворец графа Аттикова? Ну, вот, этот самый.

Два с половиной миллиона заплатила чистыми деньгами и водворилась. Экипажами и лошадьми доводит всех до столбняка, принимает немногих избранных, ездит в оперу — красавица по-прежнему. «Королева-мать» неизменно торчит возле нее, карикатурна, как и всегда, но разукрашена бриллиантами.

Покровителя возле нее нет. По крайней мере, не на кого указать. Толкуют о каком-то принце, приезжающем инкогнито в Париж для свиданий. Словом, тысяча и одна ночь! Считаю долгом уведомить тебя обо всем этом, на случай если вернешься в Париж. Между вами воздвигнута окончательная преграда: слава Богу! Ее все знают под именем графини Изы Доброновской — скоро и прежние знакомые забудут, что эта особа носила твое имя».

Новость эта не так взволновала меня, как можно было опасаться. Я решил не двигаться с места, пока не кончу «Моисея».

Неделю спустя получаю другое письмо:

«Иза пишет мне, что ей необходимо переговорить со мной по чрезвычайно важному делу. Отправляюсь. Любопытно знать, что ей понадобилось. Подробности опишу».

Константин Риц».

Проходит неделя, другая, третья — гробовое молчание.

«Моисей» мой почти готов.

Вдруг письмо с незнакомым почерком:

«Продолжайте слушаться советов вашего «единственного» друга Константина. Только знайте, что он возлюбленный вашей жены».

Чаша переполнилась.

Я позвал слугу, велел наскоро уложить необходимые вещи в маленький чемоданчик и, взглянув в последний раз на неоконченную фигуру пророка, уехал во Францию, не зная зачем, но предчувствуя нечто роковое, бесповоротное.

Четыре дня и четыре ночи не произнес я ни одного слова в дороге; ел, пил и двигался как автомат и почти ни о чем не думал. Словно посторонняя воля управляла моими действиями, толкала меня вперед.

В шесть часов утра я приехал, остановился в «Парижской гостинице», переоделся и пошел к Константину.

При виде меня друг мой изменился в лице. Однако подошел и обнял меня.

Я вынул из кармана анонимное письмо и подал ему.

— Это правда! — произнес он, прочитав письмо.

— Ты ее... возлюбленный?

— Я был ее другом в течение одного дня... Богу известно, что мне и в голову это не могло явиться! Но ей пришлось. Месть! Все равно я поступил гадко. Теперь я тебя понимаю, друг мой! Она околдовала меня! Змея... На следующий день опять являюсь: не принимают. Два, три раза — та же история. Хочешь верь, хочешь нет, но я был влюблен в нее в течение этих трех дней! Будь она моя жена и измени мне...

— Что же бы ты сделал?

— Не знаю!

— Убил бы ее?

— Может быть.

— Видишь, я сильнее тебя!

— Согласен. Ты сердишься на меня?

— Нет. Жаль только, что у тебя не хватило храбрости признаться мне во всем письменно!

— Порывался сам ехать в Рим, рассказать тебе...

— Ну?

— Ну... и остался! Ты зачем вернулся?

— Вот вопрос! Вернулся, да и все.

— Совсем?

— Совсем. До свидания.

— Куда ты?

— К твоему отцу.

— Значит, скоро увидимся.

Я прямо отправился в знаменитый отель Аттикова. Позвонил. Массивная дверь бесшумно отворилась. Двойной звонок швейцара возвестил в бельэтаж о приходе посетителя.

Лакей в великолепной ливрее вышел мне навстречу.

— Барыня дома?

— За городом, сударь.

— Скоро вернется?

— Должно быть, сегодня. Не угодно ли записаться?

— Хорошо.

— Старая графиня живет с дочерью? — спросил я.

— Нет-с, рядом. Но они за городом с барыней.

— Прекрасно. Дайте перо и бумагу.

Я вошел в переднюю и написал на листе бумаги:

«Ждите меня вечером».

Подписался и, вложив записку в конверт, велел лакею передать.

Куда деваться до вечера?

Я пошел к вам, милый друг. Рассказал вам положение вещей и спросил, чем и как ограждает закон мужа в таких случаях. Вы объяснили мне, что закон предоставляет мужу право разъехаться с женой, а если застанет ее на месте преступления, то может запереть ее в тюрьму на год или на два. Имя, свободу, попранное чувство — закон вернуть бессилён. Одна смерть может разлучить нас.

До вечера оставалось еще много времени. Дело было в конце апреля... Не отправиться ли в тот загородный дом, где я провел когда-то счастливый медовый месяц?

Так я и сделал.

Много часов пробродил я по знакомому парку, подошел к развесистой иве над рекой, посидел под соснами, жадно вдыхая тот воздух, которым мы упивались когда-то вдвоем...

В десять часов я снова звонил у массивной двери отеля. Тот же лакей, только на этот раз в парадном костюме, ввел меня в гостиную, проведя предварительно по анфиладе роскошных комнат, устланных коврами и освещенных точно для праздника.

Перед зеркалом стояла дама и небрежно поправляла смявшуюся прическу. Это была старая графиня.

Одетая в строгое, серое платье, с бриллиантовыми кольцами на пальцах, она имела не совсем неприличный вид. Такого сорта мамы бывают обыкновенно неприличнее...

— Здравствуйте, дитя мое, как поживаете? — просто встретила она меня, точно и знать не знала о том, что произошло между ее дочерью и мною.

Я был ошеломлен таким приемом.

— Благодарю вас, сударыня, недурно! — отвечал я, сам не зная, что говорю.

— Вы уже были утром?

— Да, был.

— Мы ездили за город. Только что вернулись. Сейчас Иза придет — одевается. Пыль

ужасная, и ветер такой сильный. Вы из Рима?

— Да.

— Я была там сорок лет назад с покойным отцом. Совсем вернулись в Париж?

— Сам еще не знаю.

— Занимались там много?

— Нет, мало.

Передаю наш разговор буквально!

Еще минута, и я бы не утерпел спросить старуху, смеется она надо мной? Но вошла Иза.

Предоставляю вам судить о состоянии моего сердца!

— Вот и дочь моя! — торжественно произнесла графиня и встала, как при входе королевы. Поступь, движения, легкий поклон головой и милостивая улыбка — совсем королева! Выражение лица надменное, туалет из белой шелковой материи, домашнего фасона, с длинным шлейфом. Отсутствие золота и драгоценностей.

Мать и дочь переглянулись. «Остаться?» — спросили глаза первой. — «Ни к чему!» — ответил взгляд второй. Я вел себя так сдержанно, что ни та, ни другая не могли предвидеть того, что случилось, а я еще менее их знал, что будет... Графиня поцеловала Изу в лоб.

— До свидания, мама, до завтра!

— До завтра, дитя мое.

— Обедаем вместе, не забудь.

— Знаю: у тебя.

— Приходи пораньше, я никуда не выйду.

— Хорошо! — и, бросив на меня взгляд, старуха умильно прибавила: — Мне приятно было увидеть его! Какое несчастье, что вы не ужились! Ах, если бы вы слушали моих советов! Ну, что делать!..

Она протянула мне руку, я машинально пожал ее.

Не во сне ли я вижу все это?

Она ушла, и мы остались вдвоем с Изой.

Жена моя пригласила меня знаком садиться, села на диван у столика и, взяв в руки маленький кинжал для разрезывания книг, начала небрежно играть им.

Прошло несколько мгновений тягостного молчания.

Она прервала первая его.

— Чему я обязана вашим визитом, которого я, впрочем, ожидала?

— Ожидали?

— Да.

— Почему?

— Потому что после полученного письма вы должны были вернуться в Париж.

— Письмо написано вами?

— По моему приказанию. Нужно было открыть вам глаза насчет друга, который сплетничал вам про жену.

— Значит, факт верен?

— Неужели он отпирается?

— Нет. Но зачем эта новая гнусность?

— Мечь.

— Кому?

— Константину, повредившему мне.

— Разве иначе нельзя было отомстить?

— Так показалось мне лучше.

— Вы решительно погибшее создание!

— Вы довели меня до этого.

— Каким образом?

— Надо было «тогда» простить мне.

— Возможно ли это?

— Сегодня простили бы!

— Вы думаете?..

— Уверена. Знаю, что вы меня любите и другой женщины никогда не полюбите. Иначе не пришли бы сюда и не сидели бы передо мной бледнее смерти. Да и почему вам не любить меня, так как и я продолжаю любить вас?

— Вы? Меня??

— Да, я вас. Есть вещи, которые не забываются.

И она смотрела мне прямо в глаза.

Голова моя кружилась.

— Зачем же вы изменяли мне, обманывали меня, если любили?

— Сама не знаю. Скучала — с ума сходила.

— Итак, эти господа...

— Какие господа?

— Ваши... избранники...

— Ах, разве я помню их? Даже лица их забыла и не знаю имен! Голова у меня была ненормальна. Требовалась новизна ощущений. В сущности же, я любила одного тебя. Зачем ты женился на мне? Жили бы так, любили бы друг друга и все тут! Ведь я тебе предлагала!

Надо было принять мое предложение: ты был опытнее меня. Главное несчастье в том, что я твоя жена. Если бы я могла вернуть твою свободу, все было бы поправимо. У нас можно развестись с такой женщиной, как я. Что делать! Это не моя вина. Сделанного не вернешь. Где ты был сегодня?

— В С. Ассизе.

— Как там, должно быть, хорошо теперь! Мне не раз хотелось туда съездить. Хочешь, поедем вместе?

— Хочу.

— Правда? Какой ты добрый! — она подвинулась ко мне. — Когда? Завтра?

— Да. Только с условием...

— С каким?

— Мы там останемся.

— Навсегда? Это скучно! Особенно зимой. Да я и не свободна.

— Презренная!!

Я поднял над ее головой сжатые кулаки. Она отшатнулась и закрыла лицо руками. Нагнув голову, она проговорила робким, детским тоном:

— Если ты хочешь убить меня, не заставляй долго мучиться, по крайней мере!

— Слушайте!..

Она разъединила пальцы и боязливо взглянула на меня.

— Говори мне «ты»!

— Хочешь, уедем?

— Нет.

— Надо же как-нибудь кончить! Хочешь, умрем вместе?

— Какое безумие! В наши годы? Зачем умирать, когда мы любим друг друга? Взгляни на меня! Ведь я хороша! И ты красив, очень красив, когда не злишься. Будет время умереть, когда состаримся. К чему трагизм? Можно ли сойтись опять после того, что произошло? Над тобой станут смеяться, а я этого не хочу, знаю, что ты благороднейший и гениальный художник... благодаря мне! Помнишь «Купальщицу»? Какая прелесть! Итак, оставим вещи, как они есть. Не в наших силах изменить их. Мне необходимо поклонение, роскошь, безумные траты, шум. Оставь меня в естественной стихии и бери от меня то, что я могу дать. Мы натуры разные. Ты — дитя; я скверное создание; но я тебя люблю и буду принадлежать тебе. Ты наверно не изменял мне, я тебя знаю! Представь, что эта мысль радует меня! Какое счастье исключительно владеть человеком! Покорись — я владею тобой безраздельно. Ведь ты меня все-таки любишь. Это судьба, не возмущайся. Слушай: ты останешься в Париже, так надо! Будешь создавать бессмертные творения из мрамора... Никто не узнает о наших отношениях: ругай меня направо и налево. Хочешь, публично оскорби, затей процесс, мы формально разъедемся... Только не сию минуту! — прибавила она, охватив мою шею руками. — Когда вздумаешь, напишешь мне: «Приходи!» — и я прибегу с тройной вуалью на лице, как тогда, помнишь? Никому в голову не придет, что это я... Мы пробудем вместе день, час, сколько тебе вздумается! Я буду в это время твоей прежней Изой, твоей собственностью, твоей рабыней, хочешь? Я лучшего не желаю!

— Иначе сказать, жена будет моей возлюбленной?

— Слова — пустой звук.

— И когда начнем мы эту новую жизнь?

— Когда хочешь!

— Сейчас?

— Вези меня куда-нибудь!

— К чему беспокоить тебя?

— Ты желаешь остаться здесь?

Она тревожно оглянулась.

— А вдруг «король» нагрянет? — напомнил я, словно угадывая ее опасения.

— Тебе уже сказали?.. Опасаться нечего! Да и мне все равно, я теперь богата. Пстой, я отпущу всю прислугу... Сиди тут, я тебя позову.

На губах моих я почувствовал прикосновение ее губ.

— Я тебя обожаю! — шепнула она и исчезла в соседнюю комнату.

Ни слова о сыне!

Я сидел как подавленный и не знаю, сколько времени прошло, когда раздался из соседней комнаты ее голос:

— Иди!

Я вошел в спальню. Верх утонченной роскоши! Плюш, атлас, матовый свет невидимых ламп. Иза, как мраморная богиня, протягивала ко мне руки.

Около часа ночи она уснула спокойным сном невинности!

Нет! Если эта женщина проживет завтрашний день, то я сделаюсь презреннейшим негодяем! Я тихонько встал и, войдя в гостиную, взял со стола кинжал с острым стальным клинком, которым она небрежно играла несколько часов перед тем. Так же тихо вернулся я, не выпуская оружия из руки. Она дышала ровно, безмятежно и улыбалась во сне. Я залюбовался ею... Какая красавица!

Часы пробили два.

Осторожно дотронулся я до плеча Изы.

— Любишь ты меня? — спросил я шепотом.

— Люблю! — ответила она чуть слышно, сквозь сон.

Я хотел, чтобы это было ее последним словом на земле.левой рукой я опрокинул ее голову назад, а правой — изо всей силы всадил ей в сердце кинжал, по самую рукоятку.

Она судорожно приподнялась на мгновение, но даже не вскрикнула и снова упала.

Я прислушался: дыхание прекратилось, из раны вытекло несколько капель крови.

Я вышел из отеля и до утра бесцельно бродил по улицам. При первом проблеске рассвета отправился в полицию и заявил о своем преступлении.